

Э р н с т Л е в и н

ДЕКАМЕРОН
ПЕРЕВОДЧИКА

■ Т Р И У М Ф Ы ■

Э р н с т Л е в и н

ДЕКАМЕРОН
ПЕРЕВОДЧИКА

Дорогому Гену
с любовью
Эрнст
Мюккен Шюльц 2009 г.

МОСКВА
ВРЕМЯ
2008

ББК 84Р7-3
Л36

Оформление, макет серии
Валерий Калныньш

ISBN 978-5-9691-0268-2

© Левин Э., 2008
© Издательство «Время», 2008

ОТ АВТОРА

В юности, читая стихи Маршака, я добрался и до его перевода шекспировских сонетов. Из них мне особенно понравился гневный и патетичный Сонет № 66. Лишь с одним словом я никак не мог примириться:

Зову я смерть. Мне видеть *невтерпёж*...

Сразу же приходила в голову школьная присказка «уж-замуж-*невтерпёж*», в которой этому злополучному слову придавался совсем противоположный смысл: не отвращение, а страстное и нестерпимое влечение. Вот и мне стало «невтерпёж» исправить досадную оплошность знаменитого поэта и переводчика, на что я в конце концов и отважился: перевёл Шестьдесят Шестой заново и даже в различных вариантах. В них, как оказалось, легко вписывались и «невмочь», и «невмоготу», и «несносно», и другие синонимы.

Тогда же (а было это лет сорок пять назад) я впервые прочёл «Строфы о позднем лете» Юлиана Тувима в переводе Давида Самойлова. Прочёл и поморщился: в этих романтических пейзажных стихах мне вдруг попался такой вот сомнительный образ:

Словно платки в лоханку,
Тучки брошены в воду...

Я уже умел тогда читать по-польски и разыскал нужное место в оригинале:

Obłoki leżą w stawie,
Jak *płatki* w szklance wody...

(Облака лежат в пруду, как *лепестки* в стакане воды), а вовсе не *платки* или какие-нибудь портянки...

С тех пор я и начал полюбившиеся мне стихи зарубежных поэтов время от времени сверять с подлинником и мало-помалу до того обнаглел, что стал придирается к переводам, выполненным такими столпами русской поэзии, как Блок, Пастернак и даже Пушкин. Я говорю «обнаглел» хотя бы потому, что в соответствии со своим дипломом считаю себя инженером-электриком и именно в этом качестве первые 25 трудовых лет зарабатывал свой хлеб. Таким образом, стихотворные переводы — это моё «хобби», а сам я — дилетант, хотя

стишков за свою жизнь нарифмовал кошмарное количество.

Впрочем, к племени дилетантов я испытываю полное уважение и не разделяю высокомерия многих формальных, то есть дипломированных и апробированных, специалистов в различных областях*. Тем более, что среди людей, которые легко именуют себя профессиональными поэтами или писателями, удручающе много графоманов. А вот к этому сумрачному племени я всегда боялся быть причисленным. И, должно быть, именно по этой причине занимался своим «хобби» без фанатичного рвения: переводил стихи очень редко, а публиковал и того реже...

Кроме стихов разных времён и народов, которые мне нравились в подлиннике, а по-русски не попадались, я иногда брал для посильного улучшения уже широко известные, хрестоматийные переводы, если находил в них явные ляпы и несуразности (с этого, собственно, всё и началось).

Существует мнение, что наиболее удачный перевод того или иного стихотворения — особенно если его сделал выдающийся русский поэт, — надо как бы канонизировать, подобно библейским текстам, и считать единственно адекватным из века в век. По-моему, это невер-

* А лучшие профессионалы — как раз те, для кого профессия любимое «хобби».

но. Не только потому, что в той же Библии сказано «Не сотвори себе кумира» (а если более популярно – «И на старуху бывает проруха»), но и потому, что следует время от времени освежать перевод, приспособливать его к современному русскому языку и очищать от устаревших выражений – потерявших употребительность, ставших не вполне понятными, а иногда двусмысленными или просто смешными.

Эрнст Левин

ИЗ ЕВРОПЕЙСКИХ ПОЭТОВ

SONNET 66

Tired with all these, for restful death I cry,
As, to behold desert a beggar born,
And needy nothing trimm'd in jollity,
And purest faith unhappily forsworn,

And gilded honour shamefully misplaced,
And maiden virtue rudely strumpeted,
And right perfection wrongfully disgraced,
And strenght by limping sway disabled,

And art made tongue-tied by authority,
And folly (doctor-like) controlled skill,
And simple truth miscall'd simplicity,
And captive good attending captain ill:

Tired with all these, from these would I be gone,
Save that, to die; I leave my love alone.

Вильям Шекспир (1564–1616)

СОНЕТ 66 (*подстрочный перевод*)

Устав от всего этого, я зову полную покоя смерть,
Чтобы не видеть достойного обречённым с рождения
на нищенство,
И жалкое ничтожество процветающим в веселье
(в блеске, довольстве),
И чистейшее доверие (веру) злосчастно (подло)
обманутым (преданным, одураченным),

И позолоченные почести, позорным образом
воздаваемые не тем, кому следует,
И девичью честь, грубо (жестоко) поруганную,
И истинное совершенство, лишённое признания
(должной оценки),
И силу, которой бессильная власть не даёт проявиться,

И искусство, которому начальство зажимает рот,
И глупость, с учёным видом опекающую ум (знание),
И прямоту (честность), называемую простотой
(глупостью),
И порабощённое добро – слугой поработившего его зла.

Устав от всего этого, я бы от всего этого ушёл,
Если бы, умирая, не оставлял мою любовь одну.

СОНЕТ 66 (вариант 1)

Я смерть зову: несносно видеть мне
Достоинство рождённым на мытарства,
Ничтожество – возведённым на царство,
Доверчивость – заколотой во сне;

И видеть совершенство без признанья,
И девственность у похоти в руках,
И славу, что венчает злодеянье,
И силу у бессилья в батраках,

И гневных муз закованные рты,
И ум в опеке глупости жестокой,
И прямоту под кличкой простоты,
И добродетель в слугах у порока.

Блаженна смерть, но как я в рай войду,
Любовь мою покинув здесь, в аду...

СОНЕТ 66 (вариант 2)

Устал я жить: смотреть неумогу,
Как благородный сносит нищету,
А нищий духом хам – изнежен барством,
И губится доверие коварством,

И почести бесчестным воздают,
И девственность похабству предают,
И клеветою праведников мажут,
И власть бессильных сильным руки вяжет

И вольным музам зажимает рты;
И бездарь поучает дарованье,
И правда носит кличку простоты,
И добродетель – в рабстве злодеянья.

Уж лучше смерть... Но коль придёт она,
Моя любовь останется одна...

STANZAS

When a man hath no freedom to fight for at home,
Let him combat for that of his neighbours;
Let him think of the glories of Greece and of Rome
And get knocked on the head for his labours.

To do good to Mankind is the chivalrous plan,
And is always as nobly requited;
Than battle for freedom whenever you can,
And if not shot or hanged, you'll get knighted.

Джордж Гордон Байрон (1788–1824)

СТАНСЫ

Если не за что драться в отчизне твоей –
У соседей найдутся излишки:
Лавры греков и римлян примерь поскорей
И валяй – набивай себе шишки!

Бой за общее благо – превыше всех дел,
И оплачен он будет сторицей;
Так воюй за свободу, где только поспел –
Не придушат, так станешь ты Рыцарь.

MIGNON

Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn,
In dunkeln Laub die Gold-Orangen glühn,
Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht,
Die Myrte still und hoch der Lorbeer steit
Kennst du es wohl?

Dahin, dahin

Möcht' ich mit dir, o mein Geliebter, ziehn!

Kennst du das Haus? auf Säulen ruht sein Dach,
Es glänzt der Saal, es schimmert das Gemach,
Und Marmorbilder stehn und sehn mich an:
Was hat man dir, du armes Kind, getan?
Kennst du es wohl?

Dahin, dahin

Möcht' ich mit dir, o mein Beschützer, ziehn!

Kennst du den Berg und seinen Wolkensteg?
Das Maultier sucht im Nebel seinen Weg,
In Höhlen wohnt der Drachen alte Brut,
Es stürzt der Fels und über ihn die Flut
Kennst du ihn wohl?

Dahin, dahin

Geht unser Weg; o Vater, lass uns ziehn!

Иоганн Вольфганг фон Гёте (1749–1832)

ПЕСНЯ МИНЬОНЫ

Ты знал ли землю, где цветут лимоны,
Где апельсинов жар в листе зелёной,
И синь небес, и миртов аромат,
И кипарисы тёмные стоят?
Ты знал её?

Туда, любимый мой,
Хотела б я перенестись с тобой!

Ты знал ли дом в плетеньях винограда,
С колоннами, где мрамора прохлада,
Где статуи зовут меня грустя:
Вернись с чужбины, бедное дитя!
Ты знал его?

Туда, мой дорогой,
Хотела б я перенестись с тобой!

Ты знал ли горы, где на диких кручах
Усталый мул дорогу ищет в тучах,
В расселинах кишит драконий род
И камень скал дробят потоки вод —
Ты знал ли их?

Туда лежит наш путь.
О Боже, помоги нам как-нибудь!

Johann Mayrhofer (1787–1836)

SCHIFFERS NACHTLIED

Dioskuren, Zwillingsterne,
Die ihr leuchtet meinem Nachen,
Mich beruhigt auf dem Meere
Eure Milde, Euer Wachen.

Wer auch fest in sich begründet,
Unversagt dem Sturm begegnet;
Fühlt sich doch in euren Stralen
Doppelt mutig und gesegnet.

Dieses Ruder, das ich schwinge,
Meeresfluten zu zerteilen,
Hänge ich, so ich geborgen,
Auf an eures Tempels Säulen.

Иоганн Майргофер (1787–1836)

НОЧНАЯ ПЕСНЬ ЛОДОЧНИКА

Близнецы, созвездье стражи!
Мне под вашими лучами
Любо плыть в открытом море
Даже бурными ночами.

Мореплаватель отважный,
Выйдя в море грозное,
В путеводном вашем свете
Поплывёт отважней вдвое.

Я сверну тугой свой парус,
А весло, которым правлю,
Безмятежно у колонны
Храма вашего оставлю!

RÜCKBLICK...

Die goldne Kette ist entzwei gesprungen,
Als Friedland sich zum letzten Schlaf entkleidet,
Mir, wie mein Fuß von diesen Fluren scheidet,
Reißt nicht die Kette der Erinnerungen.

Hier, des Wiedersehns Begeisterungen
Hat, fromm und dankbar, sich das Herz geweidet,
Doch kommt die Zeit, wo Jeder sich bescheidet,
Wenn mancher Jugendschwanenruf verklungen.

Der Abendsonne ruhig zugewendet,
Erlieg' ich nicht der Wehmuth süßern Zagen
Und was vergangen, nenn' ich gern vollende.

Mein Morgenroth verhallen, seine Klagen!
Der Zukunft heller Stern ist Dein Geleite,
Du Lieblichste der Treuen, mir zur Seite.

Фридрих фон Мальтиц (1795–1870)

ПРОШЛОЕ

Цепочку золотую, не жалея,
С рубахой рвут, ложась в последний сон...
Но я, прощаясь, не срываю с шеи
Моих воспоминаний медальон.

Восторги юных встреч воспринял он,
Сердец доверчивых наивные затеи...
Приходит срок, и с юностью своею
Мы расстаёмся под прощальный звон.

Без сладкой робости и призрачных гаданий,
О прошлом говоря «завершено»,
Я провожу закат спокойным взглядом.

О том, что было — не хочу рыданий!
Мне лишь Твоё прощенье суждено,
Ты, ангел верности, со мной пребудешь рядом.

DIE LORELEY

Ich weiß nicht, was soll es bedeuten,
daß ich so traurig bin.

Ein Märchen aus uralten Zeiten
das kommt mir nicht aus dem Sinn.
Die Luft ist kuhl und es dunkelt,
und ruhig fließt der Rhein;
der Gipfel des Berges funkelt
im Abendsonnenschein.

Die schönste Jungfrau sitzet
dort oben wunderbar,
ihr gold'nes Geschmeide blitzet,
sie kämmt ihr goldenes Haar.
Sie kämmt es mit goldenem Kamme
und singt ein Lied dabei,
das hat eine wundersame,
gewaltige Melodei.

Генрих Гейне (1797–1856)

ЛОРЕЛЕЯ

Не знаю, что стало со мною:
Душа печали полна,
И всё не даёт мне покою
Старинная сказка одна.
Меня тревожит виденье:
Над Рейном тих закат;
В долине густеют тени,
Лишь пики гор блещут.

И дева, прекрасна собою,
Сидит на скале крутой,
Монисто на ней золотое
И гребень в руке золотой.
Волос её пряжа златая
Сквозь гребень течёт рекой,
И песня её колдовская
Сжимает сердца тоской.

Den Schiffer im kleinen Schiffe
ergreift es mit wildem Weh;
er schaut nicht die Felsenriffe,
er schaut nur hinauf in die Höh'—
Ich glaube, die Wellen verschlingen
am Ende noch Schiffer und Kann;
und das hat mit ihrem Singen
die Loreley getan.

.

Гребца на лодочке малой
Нездешняя скорбь томит;
Забыв про подводные скалы,
Он вверх не дыша глядит.
Я знаю, он с лодкой своею
Погибнет, проглочен волной,
И пение Лорелеи
Будет тому виной.

* * *

Ein Fichtenbaum steht einsam
Im Norden auf kahler Höh'.
Ihn schläfert; mit weißer Decke
Umhüllen ihn Eis und Schnee.
Er träumt von eine Palme,
Die fern im Morgenland
Einsam und schweigend trauert
Auf brennender Felsenwand.

* * *

Wie schändlich du gehandelt,
Ich hab' es den Menschen verhehlet
Und bin hinausgefahren aufs Meer,
Und hab' es den Fischen erzählt.
Ich laß' dir den guten Namen
Nur auf dem festen Lande;
Aber im ganzen Ozean
Weiß man von deiner Schande!

* * *

На севере кедр одинокий
На голой вершине стоит.
Он спит, убаюкан метелью,
Снегами и льдами укрыт.
И снится ему, что на юге,
В далёкой и жаркой земле
Грустит одинокая пальма,
На выжженной голой скале.

* * *

Ты сделала очень гадко,
Но я тебя людям не предал:
Я в море заплыл подальше
И рыбкам про всё поведал.
Так знай же: ты только на суше
Считаешься доброй и честной,
А в реках, морях, океанах
Всё про тебя известно!

* * *

Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne,
Die liebte ich einst alle in Liebeswonne,
Ich lieb' sie nicht mehr, ich liebe alleine
Die Kleine, die Feine, die Reine, die Eine;
Sie selber, aller Liebe Bronne,
Ist Rose und Lilie, und Taube, und Sonne.

* * *

Голубка и солнышко, роза и лилия,
На всех вас хватало мне любвеобилия,
Но я разлюбил вас – люблю лишь одну я:
Смешную, чуднóю, шальную, родную,
И всё поместилось в неё без усилия:
Голубка и солнышко, роза и лилия.

AUF DER BRÜCKE

Hingelehnt am Brückenbogen
Blick ich in die Flut so gern,
Spiegelt in dem Naß der Wogen
Sich der helle Abendstern.

Sieh, wie treibt da Well' auf Welle
Sich so wild, so hastig fort,
Nur der Stern, der silberhelle,
Schimmert stets am alten Ort.

So auch blickt dein Bild voll Liebe
In mein Leben immerdar,
Sei die Flut von Stürmen trübe,
Oder sei sie morgenklar.

Doch die Zeit entflieht, die schnelle
Und Du bleibst mir evig fern,
Wie der raschen, flüchtgen Welle
Unerreichbar bleibt der Stern.

Иоганн Непомук Фогль (1802–1866)

НА МОСТУ

Прислонившись к балюстраде,
Я люблю смотреть с моста.
В бархатистой чёрной глади
Отражается звезда.

Чуть заметно ли течение,
Или бурный мчит поток –
Остаётся без движенья
Серебристый огонёк

Точно так твой образ милый
В жизни светится моей:
То беспечной, то постылой
Череди бегущих дней.

Образ зримый, осязаемый,
Но далёкий навсегда,
Как реке не достижима
Отражённая звезда.

NOUS AVONS PU TOUS DEUX...

Nous avons pu tous deux, fatigués du voyage,
Nous asseoir un instant sur le bord du chemin –
Et sentir sur nos fronts flotter le même ombrage,
Et porter nos regards vers l'horizon lointain.

Mais le temps suit son cours sa pente inflexible
A bientôt séparé ce qu'il avant uni, –
Et l'homme, sous le fouet d'un pouvoir invisible,
S'enfonce, triste et seul, dans l'espace infini.

Et maintenant, ami, de ces heures passées,
De cette vie á deux, que nous est-il resté?
Un regard, un accent, des dé de pensées. –
Hélas, ce qui n'est plus a-t-il jamais été?

Фёдор Тютчев (1803–1873)

МЫ С ТОБОЮ ВДВОЁМ...

Мы с тобою вдвоём, утомившись идти,
На минуту присели у края пути,
И, как сумрак, легла нам на лица печаль,
И взглянула в глаза равнодушная даль.

Нам грозитя безжалостный времени бег
Разорвать, что скрепил он, казалось, навек;
И не вместе, а каждый из нас, одинок,
Канет в этот бездонный и вечный поток.

Что осталось нам, друг мой, от жизни былой,
От часов, что мы прожили вместе с тобой,
Наших взглядов, намёков, и мыслей, и фраз?..
Да и было ли то, что исчезло сейчас?

SONETT

Ich bringe einen Sanger Dir vom Norden;
Doch singt er nicht vom Land, das ihn gebar,
Nicht von der Oede, die ihm Erbtheil war,
Nicht von der Trube, die ihm Sonne worden:

Es ringt und such in seines Sanges Worten
In Sehnsuchtstonen voll und wunderbar
Nach einem Himmel. gotterhell und klar,
Nach einer Seelenheimath aller Orten.

Des Sudens und der Schonheit ew'ge Bronnen
Umthauen ihn auf seines Forschens Bahn,
Und winken ihm zu jenem Dschinistan,

Wo unausloschbar selbstgeschaffne Sonnen,
Von keiner ird'schen Trubung mehr umseh'n,
Ihm leuchten bei nur ihm erschlossen Wonnen.

СОНЕТ

Знакомьтесь – это с севера певец;
Он не поёт тот край, где рос поэтом,
И дом в глуши, что завещал отец,
И сумрак, что ему казался светом.

Он, жарких слов искатель и творец,
Поёт о мире, красотой согретом,
О Божьем небе лучезарным летом,
Приюте душ – их праведных сердец.

Его, в иную веру обратя,
Влечёт волшебный юг, обитель джиннов,
Где солнце, все дела свои покинув,

Как мать, узрев любимое дитя,
Направит все лучи свои на сына,
Из всех на свете – одному светя.

TODESFUGE

Swchwarze Milch der Frühe wir trinken sie abends
wir trinken sie mittags und morgens wir trinken sie nachts
wir trinken und trinken
wir schaufeln ein Grab in den Lüften da liegt man nicht eng
Ein Mann wohnt im Haus der spielt mit den Schlangen
der schreibt
der schreibt wenn ist dunkelt nach Deutschland
dein goldenes Haar Margarete
er schreibt es und tritt vor das Haus und es blitzen die Sterne
er pfeift seine Rüden herbei
er pfeift seine Juden hervor läst schaufeln ein Grab in
der Erde
er befiehlt uns spielt auf nun zum Tanz

Swchwarze Milch der Frühe wir trinken dich nachts
wir trinken dich mittags und morgens wir trinken sie abends
wir trinken und trinken
Ein Mann wohnt im Haus der spielt mit den Schlangen
der schreibt
der schreibt wenn ist dunkelt nach Deutschland
dein goldenes Haar Margarete

Пауль Целан (1920–1970)

ФУГА СМЕРТИ

Эта чёрная жижа рассвета мы пьём её ночью
мы пьём её утром и в полдень и вечером тоже
мы всё пьём её пьём
мы в воздухе роём могилу там тесно не будет лежать
Человек что живёт в этом доме играет со змеями,
пишет
как стемнеет, он пишет в Германию
косы золотые твои, Маргарита
он напишет про это и из дому выйдет, и звёзды сверкают
он посвещает овчарок своих
он посвещает евреев своих и заставит в земле
рыть могилу
а другим в это время прикажет для танцев играть

Ах ты чёрная жижа рассвета мы пьём тебя утром
пьём и в полдень, и к вечеру снова, мы пьём тебя ночью
мы всё пьём тебя, пьём,
Человек в этом доме живёт забавляется змеями
пишет
как стемнеет, он пишет в Германию
косы золотые твои Маргарита

Dein aschenes Haar Sulamith wir schaufeln ein Grab in
den Lüften
da liegt man nicht eng
Er ruft stecht tiefer ins Erdreich ihr einen ihr andern
singt und spielt
er greift nach dem Eisen im Gurt er schwingts
seine Augen sind blau
stecht tiefer die Spaten ihr einen
ihr andern spielt weiter zum Tanz auf

Swchwarze Milch der Frühe wir trinken dich nachts
wir trinken dich mittags und morgens wir trinken dich abends
wir trinken und trinken
ein Mann wohnt im Haus dein goldenes

Haar Margarete

Dein aschenes Haar Sulamith er spielt mit
den Schlangen
Er ruft spielt süßer den Tod
der Tod ist ein Meister aus Deutschland
er ruft streicht dunkler die Geigen
dann steigt ihr als Rauch in die Luft
dann habt ihr ein Grab in den Wolken da liegt man nicht eng

Пепел кос твоих о Шуламит мы на небе копаем
могилу —
там тесно не будет лежать
Он кричит нам: поглубже копайте, а вы там —
играйте и пойте
он оружием нам угрожает своим
у него голубые глаза
эй поглубже лопаты втыкайте
а вы там играть и плясать продолжайте

Ах ты чёрная жижа рассвета мы пьём тебя ночью
мы пьём тебя утром и в полдень и вечером тоже
мы всё пьём тебя пьём
а в доме живёт человек где-то косы золотые твои
Маргарита
Где-то пепел волос твоих о Шуламит
он со змеями дружит
он велит смерть послаще играть
смерть маэстро немецкий
он кричит скрипки гладьте нежней
и как дым вознесётесь на небо
и тогда в облаках будет ваша могила лежать там не тесно

Swchwarze Milch der Frühe wir trinken dich nachts
wir trinken dich mittags der Tod ist ein Meister aus
Deutschland
wir trinken dich abends und morgens wir trinken und trinken
der Tod ist ein Meister aus Deutschland sein Auge ist blau
er trifft dich mit bleierner Kugel er trifft dich genau
ein Mann wohnt im Haus dein goldenes Haar Margarete
er hetzt seine Rüden auf uns er schenkt uns ein
Grab in der Luft
er spielt mit den Schlangen und träumet
der Tod ist ein Meister aus Deutschland
dein goldenes Haar Margarete
dein aschenes Haar Sulamith

Ах ты, чёрная жижа рассвета, мы пьём тебя ночью
пьём мы в полдень тебя смерть немецкий маэстро
пьём и вечером тоже, и утром – всё пьём мы и пьём
смерть маэстро немецкий глаза у него голубые
он тебя настигает свинцовою пулей без промаха точно
в этом доме живёт человек, грезит золотом кос

Маргариты

он овчарок спускает на нас и могилу даёт

в небесах

он со змеями любит играть и мечтать

смерть маэстро немецкий

золото кос Маргариты

пепел от кос Шуламит

TRZECH BUDRYSOW

Ballada litewska

Stary Budrys trzech synów, tęgich jak sam Litwinów,
Na dziedziniec przyzywa i rzecze:
«Wyprowadźcie rumaki i narządźcie kulbaki,
A wyostrzcie i groty, i miecze.

Bo mówiono mi w Wilnie, że otrąbią niemylnie
Trzy wyprawy na świata trzy strony:
Olgierd ruskie posady, Skirgiełł Lachy sąsiady,
A książdz Kiejstut napadnie Teutony.

Wyście krzepcy i zdrowi, jedźcie służyć krajowi,
Niech litewskie prowadzą was bogi,
Tego roku nie jadę, lecz jadącym dam radę,
Trzej jesteście i macie trzy drogi.

Jeden z waszych biec musi za Olgierdem ku Rusi,
Ponad Ilmen, pod mur Nowogrodu;
Tam sobole ogony i srebrzyste zasłony,
I u kupców tam dziengi jak lodu.

Адам Мицкевич (1798–1855)

ТРОЕ БУДРЫСОВ

Литовская баллада

Старый Будрыс на мызу трёх сынов своих вызвал:
Трёх литвинов, как сам он, могучих,
И сказал им: «Ступайте, трёх коней оседлайте,
Да мечи наточите получше.

В Вильне трубы играют, рать в поход собирают
Воеводы к соседским кордонам:
Ольгерд – русским дать страху, Скиргелл – гордому ляху,
А князь Кейстут – проклятым тевтонам.

Вы сильны и умелы, ждёт вас бранное дело,
Пусть ведут вас литовские боги!
Сам уж я не вояка, мой совет вам однако:
Меж собой поделите дороги.

Пусть же младший из братьев скачет с Ольгерда ратью
Осаждать новгородские стены:
Это город богатый, там не считано злато,
И соболю меха драгоценны.

Niech zaciągnie się drugi w księdza Kiejstuta cugi,
Niechaj tępi Krzyżaki psubraty;
Tam bursztynów jak piasku, sukna cudnego blasku
I kapłańskie w brylantach ornaty.

Za Skirgiełłem niech trzeci poza Niemen przeleci,
Nędzne znajdzie tam sprzęty domowe,
Ale za to wybierze dobre szable, puklerze,
I mnie stamtąd przywiezie synowę.

Bo nad wszystkich ziem branki miłsze Laszki kochanki,
Wesolutkie jak młode koteczki,
Lice bielsze od mleka, z czarną rysą powieka,
Oczy błyszczą się jak dwie gwiazdeczki.

Stamtąd ja przed półwiekiem, gdym był młodym
człowiekiem,
Laszkę sobie przywiozłem za żonę;
A choć ona już w grobie, jeszcze dotąd ją sobie
Przypominam, gdy spojrzę w tą stronę».

Средний – с Кейстутом ныне едет к двинской долине
Немца бить, неприятеля злого.
Он в обиде не будет: самоцветов добудет,
Янтаря и сукна дорогого.

А со Скиргеллом к Польше пусть отправится большой:
Справит щит себе, саблю – и только...
Там с поживою худо, но возьмёт он оттуда
Мне в невестки красавицу польку.

Не найти полонянки краше польки-белянки:
Как котёнок весёлый, резвится,
И блестящие очи, будто звёздочки ночи,
Чёрным бархатом кроют ресницы.

Был я вас помоложе – я за Неманом тоже
Взял жену себе – польку младую:
Хоть давно её нету, а как в сторону эту
Погляжу, так о ней затоскую...»

Taką dawszy przestrogę, błogosławił na drogę;
Oni wsiedli, broń wzięli, pobiegli.
Idzie jesień i zima, synów nie ma i nie ma,
Budrys myślał, że w boju polegli.

Po śnieżystej zamieci do wsi zbrojny mąż leci,
A pod burką wielkiego coś chowa.
«Ej, to kubeł, w tym kuble nowogrodskie są ruble?»
– «Nie, mój ojczy, to Laszka synowa».

Po śnieżystej zamieci do wsi zbrojny mąż leci,
A pod burką wielkiego coś chowa.
«Pewnie z Niemiec, mój synu, wiesz kubeł bursztynu?»
– «Nie, mój ojczy, to Laszka synowa».

Po śnieżystej zamieci do wsi jedzie mąż trzeci,
Burka pełna, zdobyczy tam wiele.
Lecz nim zdobycz pokazał, stary Budrys już kazał
Prosić gości na trzecie wesele.

Сыновья поклонились, взяли копыя, простились,
В сёдла сели и прочь ускакали.
Ждал их Будрыс всё лето, осень ждал – всё их нету,
Он уж думал, в сражениях пали.

Только глядь – по пороше всадник с тяжкою ношей
Едет, буркой её укрывая.
– С чем ты, сын? С соболями, с золотыми рублями?
– Нет, отец, это полька младая!

По искристой пороше ратник с тяжкою ношей
Скачет, буркой её укрывая.
– Не тевтонские ль это янтари, самоцветы?
– Нет, отец, это полька младая!

Пыль морозная вьётся, третий воин несётся –
В чёрной бурке добычу скрывает.
Старый Будрыс с порога шлёт гонцов по дорогам:
На три свадьбы гостей созывает.

DO MATKI POLKI

Wiersz pisany w roku 1830

O matko Polko! gdy u syna twego
W źrenicach błyszczący genijuszu świetność,
Jeśli mu patrzą z czoła dziecinnego
Dawnych Polaków duma i szlachetność;

Jeśli rzuciwszy rówienników grono
Do starca bieży, co mu dumy pieje,
Jeżeli słucho z głową pochyloną,
Kiedy mu przodków powiadają dzieje:

O matko Polko! źle się twój syn bawi!
Klęknij przed Matki Boleśnej obrazem
I na miecz patrzaj, co Jej serce krwawi:
Takim wrog piersi twe przeszyje razem!

Bo choć w pokoju zakwitnie świat cały,
Choć się sprzymierzą rządy, ludy, zdania,
Syn twój wyzwany do boju bez chwały
I do męczeństwa ... bez zmartwychpowstania.

К МАТЕРИ-ПОЛЬКЕ

Стихотворение 1830 года

Мать-полька! Если ты, себе на горе,
Блеск гения заметишь в юном сыне,
И если вспыхнет в отроческом взоре
Былых поляков вольность и гордыня,

И если игры сверстников покинув,
Твой сын к седому старцу убегает,
О славных предках слушает былины
И хмурится, и голову склоняет —

Мать-полька! это скверные забавы!
Пади пред Богородицей Скорбящей —
Гляди: Ей грудь пронзает меч кровавый,
И знай: то меч, тебе самой грозящий.

И даже если стихнут все разлады,
И мир забудет споры и сраженья,
Пойдёт твой сын на подвиг без награды,
На муки и на крест без воскрешенья.

Każde mu wcześniej w jaskinią samotną
Iść na dumanie... zalegać rohoże,
Oddychać parą zgniłą i wilgotną
I z jadowitym gadem dzielić łożę.

Tam się nauczy pod ziemię kryć z gniewem
I być jak otchłań w myśli niedościgły,
Mową truć z cicha, jak zgniłym wyziewem,
Postać mieć skromną jako wąż wystygły.

Nasz Odkupiciel dzieckiem w Nazarecie
Piastował krzyżyk, na którym świat zbawił.
O matko Polko! ja bym twoje dziecię
Przyszłymi jego zabawkami bawił.

Wcześniej mu ręce okręcaj łańcuchem,
Do taczkowego każ zaprzęgać woza,
By przed katowskim nie zbladnął obuchem
Ani się spłonił na widok powroza.

Так пусть он смладу в пустынь удалится,
Пускай в веригах ходит и в рогоже,
Пещерной гнилью дышит, и постится,
И с ядовитым гадом делит ложе.

Пускай научится от глаза злого
Подальше прятать мысли, гнев, обиду,
Вливать змеиный яд в благое слово
И неприметным оставаться с виду.

Мать-полька! Во младенчестве порою
Играл нательным крестиком Сын Божий.
Займи и ты дитя своё игрою,
На путь, ему назначенный, похожей:

Закуй ему кандалной цепью руки,
Приставь к тяжёлой, каторжной работе
И научи терпеть любые муки
И – не дрожать на смертном эшафоте.

Bo on nie pójdzie, jak dawni rycerze,
Utkwić zwycięski krzyż w Jeruzalemie,
Albo jak świata nowego żołnierze
Na wolność orać... krwią polewać ziemię.

Wyzwanie przyszłe mu szpieg nieznajomy,
Walkę z nim stoczy sąd krzywoprzysiężny,
A placem boju będzie dół kryjomy,
A wyrok o nim wyda wróg potężny.

Zwyciężonemu za pomnik grobowy
Zostaną suche drewna szubienicy,
Za całą sławę krótki płacz kobiety
I długie nocne rodaków rozmowy.

Он не уйдёт, как рыцари когда-то,
За гроб Господень в ратные походы
Или – как Света Нового солдаты –
Удобрить кровью пахоту свободы:

Не вызов будет, а донос бесчестный,
Не битва, а сатрапа суд неправый,
Не чисто поле, а застенок тесный,
Не Божья воля – царская расправа.

Не будет над могилой изваянья:
Лишь пётля, и бревно, и две опоры,
И женщины недолгие рыдания,
И земляков ночные разговоры.

DO PRZYJACIÓŁ MOSKALI

Wy – czy mnie wspominać? ja, ilekroć marzę
O mych przyjaciół śmierciach, wygnaniach, więzieniach,
I o was myślę: wasze cudzoziemskie twarze
Mają obywatelstwa prawo w mych marzeniach.

Gdzież wy teraz? Szlachetna szyja Rylejewa,
Którą jak bratnią ścisnął, carskimi wyroki
Wisi do hańbiącego przywiązana drzewa;
Klątwa ludom, co swoje mordują proroki!

Ta ręka, którą do mnie Bestużew wyciągnął,
Wieszcz i żołnierz, ta ręka od pióra i broni
Oderwana, i car ją do taczki zaprzagnął,
Dziś w minach ryje, skuta obok polskiej dłoni.

Innych może dotknęła sroższa niebios kara:
Może kto z was urzędem, orderem zhańbiony,
Duszę wolną na wieki sprzedał w łaskę cara
I dziś na progach jego wybija pokłony.

Może płatnym językiem tryumf jego sławi
I cieszy się ze swoich przyjaciół męczeństwa,
Może w ojczyźnie mojej moją krwią się krwawi
I przed carem, jak z zasług, chlubi się z przeklestwa.

К РУССКИМ ДРУЗЬЯМ

Вы меня – не забыли? А я, как случится
Вспомнить тех, кто в могилах, острогах, изгнанных,
Вспоминаю и вас: иностранные лица
С полным правом гражданства в моих поминаньях.

Где вы нынче? Рылеев, с которым, как братья,
Обнимались мы, – волей державного рока
Умер в царском объятьи – в удавке! – проклятье
Племенам, что своих убивают пророков!

Жал мне руку Бестужев, поэт и рубака;
Прикоснётся ль рука эта к шпаге и лире? –
В кандалах она – рядом с рукою поляка –
К рудной тачке прикована в снежной Сибири.

Может, с кем и похуже беда приключилась:
Может, он опозорен наградой, чином,
Душу вольную продал за царскую милость,
Бьёт поклоны, лобзая сапог господина,

Славит царский триумф вдохновением платным
И злорадствует, видя товарищей муки?
Может; в Польше, в крови моей вымазав руки,
Он гордится проклятьем, как подвигом ратным?

Jeśli do was, z daleka, od wolnych narodów,
Aż na północ zalecą te pieśni żałosne
I odezwą się z góry nad krainą lodów, –
Niech wam zwiastują wolność, jak żurawie wiosnę.

Poznacie mię po głosie; pókim był w okuciach,
Pełzając milczkiem jak wąż, łudziłem despotę,
Lecz wam odkryłem tajnie zamknięte w uczuciach
I dla was miałem zawsze gołębia prostotę.

Teraz na świat wylewam ten kielich trucizny:
Żrąca jest i paląca mojej gorycz mowy,
Gorycz wyssana ze krwi i z łez mej ojczyzny,
Niech zrze i pali, nie was, lecz wasze okowy.

Kto z was podniesie skargę, dla mnie jego skarga
Będzie jak psa szczekanie, który tak się wzdroży
Do cierpliwie i długo noszonej obroży,
Że w końcu gotów kąsać – rękę, co ją targa.

Пусть же слово моё, моя скорбная песня
Долетит издалёка, от вольных народов,
И пролившись на ваши снега с поднебесья,
Как журавль весну, возвестит вам свободу!

Голос мой вам знаком: хоть молчал я угрюмо,
Ускользя ужом от когтей властелина,
Но ведь вам я открыл мои тайные думы
И всегда приходил с простотой голубиной.

Ныне я свою чашу на мир выливаю;
Кровь и слёзы отчизны влились в моё слово:
Пусть, как яд и огонь — разъедая, сжигая,
Уничтожит — не вас, а лишь ваши оковы!

Укоряйте, ропщите — ваш ропот, укор ли
Для меня — только лай верноподданной суки,
Так привыкшей терпеть свой ошейник на горле,
Что притронуся к нему — искушает все руки.

RZUCIŁBYM TO WSZYSTKO

Rzuciłbym to wszystko, rzuciłbym od razu,
Osiadłbym jesienią w Kutnie lub Sieradzu.

W Kutnie lub Sieradzu, Rawie lub Łęczycy,
W parterowym domu, przy cichej ulicy.

Byłoby tam ciepło, ciasno, ale miło,
Dużo by się spało, często by się piło.

Tam koguty rankiem na opłotkach pieją,
Tam sąsiedzi dobrzy tyją i głupieją.

Poszedłbym do karczmy, usiadłbym w kąciku,
Po tym, co nie wróci, popłakał po cichu.

Юлиан Тувим (1894–1953)

БРОСИТЬ БЫ ВСЁ ЭТО...

Бросить бы всё это, бросить бы не глядя,
Поселиться осенью в Кутно иль Серадзе.

В Кутно иль Серадзе, в Раве иль Ленчице,
В тихом переулке, в хатке поселиться.

Было б там уютно, тесновато малость,
Хорошо пилось бы, хорошо дремалось.

Петухи бы утром на заборах пели,
Добрые соседи пухли и глупели.

Сел бы я за столик в кабачке напротив
И оплакал тихо всё, что не воротишь.

Pogadałbym z Tobą przy ampułce wina:
«No i cóż, kochana? Cóż, moja jedyna?»

Żal ci zabaw, gwaru, tęskno do stolicy?
Nudzisz się tu pewno w Kutnie lub Łęczycy?»

Nic byś nie odrzekła, nic, moja kochana,
Słuchałabyś wicheru w kominie do rana...

I dumiała długo w lęku i tęsknicy:
– Czego on tu szuka w Kutnie lub Łęczycy?

У тебя спросил бы, отхлебнув вина, я:
«Ну и что ж, любимая? Что ж, моя родная?»

Жаль тебе веселья, гомона столицы?
Ты, небось, скучаешь в Кутно иль Ленчице?»

А моя родная, слова не ответив,
До утра бы слушала в дымоходе ветер

И с тоскою думала, опустив ресницы:
«И чего он ищет в Кутно иль Ленчице?»

ŻYDEK

Śpiewa na podwórku, tuląc się w łachmany,
Mały, biedny chłopiec, Żydek obląkany.

Ludzie go wygnali, Bóg pomieszał głowę,
Wieki i wygnanie pomieszały mowę.

Drapie się i tańczy, płacze i zawodzi
O tym, że się zgubił, że po prośbie chodzi.

Pan z pierwszego piętra patrzy na wariata:
Spójrz, mój bracie biedny na smutnego brata.

Kędy nas zaniosło? Gdzieśmy się zgubili,
Świata ogromnemu obcy i niemili?

ЖИДЁНОК

Во дворе танцует ради скудной пищи
Маленький оборвыш, полоумный нищий.

Бог лишил рассудка, смертные – изгнали,
Сотни лет скитаний языки смешали.

Он поёт и плачет, хлеба просит кротко:
Я, мол, потерялся... Бросили сиротку...

Господин с балкона смотрит виновато:
Посмотри, несчастный, на родного брата!

Где мы потерялись, брошенные дети,
Чужды и не милы никому на свете?

Pan z pierwszego piętra, brat twój opętańczy
Głową rozpaloną po wszechświecie tańczy.

Pan z pierwszego piętra wyrósł na poetę:
Serce swe, jak grosik, zawinie w gazetę –

I przez okno rzuci, żeby się rozbiło,
Żebyś je podeptał, żeby go nie było!

I pójdziemy potem każdy w swoją stronę
Na wędrówki nasze smutne i szalone.

Nie znajdziemy nigdy ciszy i przystani,
Żydzi śpiewający, Żydzi obląkani.

Господин с балкона! Плоть от плоти вашей
В скорби исступлённой по вселенной пляшет!

Господин с балкона выбился в поэты:
Завернёт он сердце, как пятак, в газету

И на камни бросит – чтоб оно разбилось:
Наступи покрепче, чтоб уже не билось!

И вернёмся оба с песней и рыданьем
К скорбной нашей доле, к вековым скитаньям.

Не найти вовеки мира и жилища
Нам, жидам поющим, полоумным нищим.

SOKRATES TAŃCZĄCY

Prażę się w słońcu, gałgan stary,
Leżę, wyciągam się i ziewam.
Stary ja jestem, ale jary:
Jak tęgi łyk pociągnę z czary,
To śpiewam.

Słońce mi grzeje stare gnaty
I mądry siwy łeb kudłaty,
A w mądrym łbie, jak wiosną las,
Szumi i szumi mędrsze wino,
A wieczne myśli płyną, płyną,
Jak czas...

Czego się gapisz, Cyrbeusie?
Co myślisz? Leży stary kiep,
Już do gadania słów mu brak,
Już się wygadał? A tak, tak...
Idź, piecz swój chleb.

ПЛЯШУЩИЙ СОКРАТ

Жарюсь на солнце, лодырь старый,
Щурюсь, потягиваюсь... Пью.
Старый я хрен, а глянь-ка – ярый!
Как хватану глоток из чары –
Так – запою!

Солнышко старые кости греет
И эту башку, что всех мудрее,
А в ней – ничего мудрей вина!
Шумит в ней вино, как лес весною,
И вечные мысли текут рекою,
Как времена...

Чего уставился, Кирбеус?
Думаешь: пьян, смешон, нелеп...
Разлёгся старый, мол, босяк,
Больше не мудрствует! Иссяк?
Шёл бы ты пёк свой хлеб...

Z zaułka śmieją się uczniowie,
Że się mistrzowi kręci w głowie,
Że się Sokrates spił...
Idź, Cyrbeusie, uczniom powiedz,
Że już trafiłem w samo sedno:
Że cnotą jest – zlizywać pył
Z ateńskich ulic! Lub im powiedz,
Że cnotą jest – w pęcherze dać!
Że cnotą jest – lać wodę w dzbany!
Albo – wylewać! Wszystko jedno...

A jeśli chcesz – to przy mnie siadź,
Nie piecz swych bułek i rogali,
Będziemy sobie popijali!
No, trąć się ze mną, trąć!

Cóż ci to? Przykro, Cyrbeusie,
Że mi się język trochę płacze?
Że się tak śmieję, Cyrbeinku?
Że w biały dzień w Atenach, w rynku,
Jak żebrak leżę, wino sączę?

Ученики вон крутят носом:
Совсем, мол, спился наш философ,
В мозгах – сплошная муть...
Иди скажи им по секрету,
Что я уже постиг всю суть!
Скажи, что добродетель – это:
С афинских улиц пыль лизать!
Или – в пузырь бычачий дуть...
В кувшины воду наливать...
Иль выливать... скажи любое...

А лучше – ты со мной присядь,
Хлебы свои оставь в покое,
Будем тихонько попивать...
Ну! Чокнись же со мною!

Что ж ты, Кирбей? Тебе досадно,
Что я сегодня так нескладно
Всё излагаю? И что я
В Афинах, среди бела дня
Лежу на рынке, будто нищий,
Сосу винище?!

Mędrcomi, mówisz, nie przystoi,
Gdy złym przykładem uczniom świeci?
Że stary broi
Jak dzieci?
Że tłumowi uczni nie gromadzę,
Że drogi prawd im nie wskazuje,
Nie radzę...
Nie filozofuję?
A tak... a tak...
Zło! Dobro! – Prawda? – Ludzie, bogi,
Cnota i wieczność, czyn i słowo,
I od początku – znów, na nowo:
Bogi i ludzie, dobro, zło,
Rzeczpospolita, słowa, czyny,
Piękno – to, tamto, znowu to –
Mój drogi – kpiny!

Słyszeliście od Herifona,
Żem jest najmędrzy... Tak orzekła
Wyrocznia, w całej Grecji czczona,
Blask chwały czoło moje zdobi!
Więc patrzcie, co najmędrzy robi:
O!

Ах, мудрецу сие негоже?
Переполох в учёном свете?
Старик, мол, — а балует тоже,
Как дети?
Не собирает граждан в кучи,
Не указывает им дороги,
Не философствует...
Не учит?
Ну да, всё так...

Зло! Благо! — верно? Люди, боги,
Правда и Вечность? Дело — Слово?
Благо — вот это! Нет — вон то! —
И — всё сначала, всё — по новой:
Боги и люди, зло — добро...
Демократические силы...
Народовласть!.. Всё — дерьмо!
Всё — чушь, мой милый...

Известно вам от Герифона,
Что я — мудрейший: так считает
Оракул в храме Аполлона.
Хвала венчает мне чело!...
А что мудрейший вытворяет?!
Во!!

Bo cóż jest słowem, a co czynem,
Bo cóż jest dobro, a co zło,
Kiedym się złotym upił winem,
A mam kosmatą głowę psa
I w głowie zamęt obłąkańczy?!

Wy patrzcie, jak filozof tańczy:
I hopsa-sa i hopsa-sa!
I hopsa, hopsa, hopsa-sa!
Wy patrzcie, jak najmędrzy tańczy!
Jak mu skaczą stare nogi,
Zło i dobro, ludzie, bogi,
Cnota, prawda, wieczna Mojra,
Hopsa, hopsa, idzie ojra:
Raz na prawo – hopsa-sa!
Raz na lewo – hopsa-sa!
Rypcium pipcium, chodź Ksantypciu!
A muzyka gra!!

Так что ж есть Дело и что – Слово,
Что есть Добро и что есть Зло,
Когда вкусил вина златого
Мудрец с косматой мордой пса,
И в голове – хмельная каша?!

Вы гляньте, как философ пляшет!!
И гопса-са, и гопса-са!
И гопса, гопса, гопса-са!
Вы гляньте, как мудрейший пляшет!! –
Как подбрасывает ноги:
Добродетель, люди, боги,
Форма, сущность, разум, чувство!
Гоп – наука! Гоп – искусство!
Раз – направо, гопса-са!
Раз – налево, гопса-са!
Где Ксантипка, моя рыбка?
Ну и чудеса!!

Chodź tu także, Cyrbeinku,
Wokoluśko tak, po rynku,
Mędrzec tańczy, dalej z drogi
Cnota, prawda, piękno, bogi,
Patrzcie, ludzie, patrzcie, gapie,
Od Ksantypci wały złapię,
Że tak we mnie wszystko drga,
A ja sobie hopsa-sa!
Tak bez końca, tak do śmierci
Niech się jasne niebo wierci,
Tak – do góry, a tu kopsa,
I znów boczkiem hopsa, hopsa!
Nie żałować starych nóg!
Niech się cieszy wielki Bóg,
Że Sokrates prawdę zna,
Że już wie! że wszystko ma!
Że już poszedł hen, na kraniec,
On – najmędrszy, on – wybraniec,
Gałgan z brzydką mordą psa
Poznał taniec, poznał taniec,
Hopsa, hopsa, hopsa-sa!!!

Ну-ка, дай, Кирбеич, жару –
Выходи со мной на пару!
Мудрый пляшет – прочь с дороги
Правда, доблесть, люди, боги!
Гоп – на пятки! Гоп – на цыпки!
Ой, влетит мне от Ксантипки!
А я буду – гопса-са,
Чтоб кружились небеса!
И до смерти, и без срока,
И – по рынку боком-скоком,
Не жалея старых ног!
Пусть возрадуется Бог,
Что Сократ достиг вершины,
Знает цели и причины,
Всё имеет наконец!
Он – избранник!
Он – мудрец!
Он, великий оборванец,
Лодырь с гадкой мордой пса,
Он – познавший танец! Танец!!
Гопса, гопса, гопса-са!!!

ŚMIERĆ

1

Chmur schorzalych szare cielska
Nudę sypią na ulicę.
Siwa śmierć obywatelska
Puka w stęchłe okiennice.

Szyby drżą umorusane,
Jakieś szare, jakieś mgliste,
Domy smutne, drzewa pijane,
A zmiłuj się, Jezu Chryste

Duszą chmury jak widziadło...
Płot-staruszek się pochyla,
Deszcz, wichrzaste czupiradło,
Zacznie padać lada chwila.

Od spiekoty zżółkły zielska
Co pod płotem w piachu rosna,
Siwa śmierć obywatelska
Jakoś minę ma załosną.

СМЕРТЬ

1

Тучи душат, наседая,
Небо скукою сочится.
Смерть житейская седая
В окна нищенкой стучится.

Стёкла, мутные от века,
Дребезжат в трухлявой раме
Дом скопился, тын – калека...
Боже, смилуйся над нами!

Душат тучи, будто призрак...
Старый тын всё ниже гнётся,
Тянет, медлит дождь капризно,
Но и он вот-вот польётся.

Сохнут, жухнут, увядая
Сорняки в песке у тына...
Смерть житейская седая
Строит жалостную мину.

Płot-staruszek z śmiercią gwarzy...
Czeka listu panna-młoda,
Pan aptekarz ziółka warzy,
Ostrzy brzytwy golibroda.

2

Suną miastem jakieś strachy,
Nuda się po domach włoczy...
Ksiądz z doktorem grają w szachy,
Doktor sapię, ksiądz coś mruczy.

A w pokoju smutek chodzi,
W kąty zerka, w gratach szuka –
– A wyjrzyj no pan dobrodziej,
Co za lichy w okna puka...

«Tere-fere» – Niby-niby...
«Szach królowi...» – Jest osłonka...
«Jeszcze raz...» – A nawet gdyby...
«Zaraz, zaraz – biorę pionka...»

У бурмиистра новоселье.
Он вдовицу в жёны прочит.
Пан аптекарь варит зелья,
Парикмахер бритву точит.

2

Ксёндз и доктор в шахматишки
Целый день сидят играют:
Эскулап сопит с одышки,
Ксёндз тихонько напевает...

А тоска по дому бродит,
По углам, сеням влачится.
– Ну-ка выглянь, пан-добрóдей:
Что за лихо к нам стучится?

«Не стучится, показалось...
Ты ходи!» – Схожу, без спешки...
«Шах тебе!» – Прикроюсь малость.
«Пешки тоже не орешки!»

Grają, bają, a śmierć czeka,
A śmierć siedzi koło płota,
Jeszcze myśli, jeszcze zwleka,
Ruszyć się jej nie ochota.

«Ślicznie, ślicznie, idze konik...»
– Idze wieża... «Konik capie!...»
I coś mruczy ksiądz kanonik,
A pan doktor ciągle sapie.

3

«Czemuś oczki zapłakała,
Moja Ty-y-y kochanka miła?»
– Rosła w polu brzożka biała,
Brzożkę burza powaliła...

Kumo, kumo, czas do dzieła!
Błysło! Hukło! Deszcz już bryzga.
Śmierć pod boki się ujęła
I do płotu się umizga.

Шутят так, а за окошком
Медлит смерть перед работой:
Отдохну ещё немножко,
Шевелиться неохота.

«Так-так-так. Выходит коник»...
– Мы слоном его, бедняжку!...
И мурлычет ксёндз-каноник,
А пан доктор дышит тяжело.

3

«Отчего на глазках слёзки
У тебя-а-а, моя родная? «
– Жалко во́ поле берёзки:
Повалила буря злая...

Эй, кума, настали сроки!
Вспышка! Гром! – и ливень хлынул.
Смерть упёрла руки в боки
И любезничает с тыном.

...Chmur schorzałych szare cielska
Strugi sączą na ulicę.
Siwa śmierć obywatelska
Puka w stęchłe okiennice.

– Dobrodzeju, ktoś tam puka...
(Doktor ksiądzu pionka bierze)
«A niech puka, a niech stuka!
Eskułapciu, biorę wieżę!»

– Dobrodzeju, ano trudno,
Zagapiłem się maleńko!
Twoja partia...(Nudno... nudno...)
«Daj no wina, Marysieńko!»

4

A śmierć śmieje się, chichoce,
Taka straszna, taka blada...
Ku sąsiedzkiej starej kwoce
Czarna suka się podkrada...

...Тучи душат, наседая,
Небо струями сочится.
Смерть житейская седая
В окна пыльные стучится.

— Кто-то к нам стучится в окна...
(Доктор пешку бьёт устало).
«Пусть стучатся, пусть хоть сдохнут...
А ладья твоя пропала!»

— Да, приятель, таки трудно...
Зазевался я маленько!
Что ж, сдаюсь...(Ах, нудно...нудно...)
«Дай винца нам, Марылёнька!»

4

Смерть хихичет в злости детской —
Страшно слышать, как смеётся!..
К старой курице соседской
Сука чёрная крадётся...

Hyc! – skoczyła. Dusi gardło,
Łypie ślepskiem stara suka...
«Mój doktorze... dech mi sparło...»
– Dobrodzeju, ktoś tam puka...

«A niech puka! Nie otworzę!
Pijmy – nasza przyjacielska!»
(Moknie siwa śmierć na dworze,
Moknie śmierć obywatelska.)

A pan doctor zbladł na twarzy:
– Książę, książę, do modlitwy!
(Pan aptekarz ziółka warzy,
Golibroda ostrzy brzytwy.)

Drzewa jęczą, drzewa mokną,
Ktoś tam płacze, ktoś tam biada.
I skoczyła śmierć przez okno,
Taka straszna, taka blada...

Хватъ! Впилась клыками в горло,
Косит глазом, как волчица!...
«Пане доктор... дых мне спёрло...»
– Ксёнже! Кто же к нам стучится?..»

«Пусть стучится! Не открою!
Выпьем! Пей не рассуждая!»
(Мокнет, мокнет за стеною
Смерть житейская седая).

Доктор бледен, как с похмелья:
– Отче, отче, на молитву!
(Пан аптекарь варит зелья,
Парикмахер точит бритву.)

Дом, деревья – всё промокло.
Кто-то плачет, причитая...
И – рванулась в дом сквозь стёкла,
Смерть житейская седая!..

NIGDY

Nigdy jeszcze nie zaznałem głodu,
Nie chwyciła mnie, grzesznego, nędza,
Nie chodziłem po prośbie za młodu,
Nikt spod drzwi mnie nigdy nie przepędzał.

Nie dźwigałem ciężarów dla chleba,
Mułem jucznym nie byłem dla możnych,
Nie sypiałem pod namiotem nieba,
Ziębnąc w śniegu lub w rowach przydrożnych.

Zawsze miałem, podły i nikczemny,
Żarcie tłuste i owoc i wino,
I zdobywał dla mnie człek najemny
Chwilę szczęścia – męki swej godziną.

Nie chodziłem obdarty i brudny,
Troską ciężką o jutro zgnębiony,
W pracy nudnej, w pracy trudnej, żmudnej,
Jako w gęstej smole zatopiony.

.....
Lecz za jedno, miłościwy wielce,
Niech uniknę karzącej Twej ręki,
Że nad sytym brzuchem biło serce,
Wiecznie głodne i spragnione męki.

НИКОГДА

Никогда я с голодом не знался,
Не изведал нищеты убогой,
В юности с сумою не скитался,
И никто не гнал меня с порога.

Не был я слугою для вельможных,
Не таскал камней за корку хлеба
И не спал в канавах придорожных,
Замерзая под открытым небом.

Каждый день я, подлый и никчёмный,
Сладко жрал, имел вино и мясо —
Добывал мне «челаэк» наёмный
Счастья миг — своих мучений часом.

Не ходил я оборванцем грязным,
Перед днём грядущим в страхе смутном,
В прозябаньи скудном, трудном, нудном.
Безнадёжно, как в смоле, увязнув,

.....
Лишь одно, всемилостивый Боже,
В Судный день пусть грешнику зачтётся:
Вечный голод и страданье гложут
Сердце, что над сытым брюхом бьётся.

DEFINICJE

Oto prawda: przynieść z ulicy
Pęk fiołków miłemu dziewczęciu.
Wszystko inne jest tajemnicą
Pod okrutną bożą pieczęcią.

Oto miłość: pierwsza jedna chwilka,
Myśl daleka, spojrzenie drzące,
Wszystko inne będzie słowem tylko,
Zasadzonym w wierszu jak w grządce.

Oto szczęście: słońce na balkonie,
Ciepłe złoto w oczach przymkniętych.
Wszystko inne w nocach utonie,
Zawieruszy się w dniach niepojętych.

A co śmierć jest – doprawdy nie wiem.
Coś, co w sercu niecierpliwie chlusta.
Dlatego je tak tulę do siebie,
Gdy zasypiam z modlitwą na ustach.

ДЕФИНИЦИИ

Правда – это: принести весной
Пук фиалок девушке любимой:
Остальное всё покрыто мглой
Под печатью Божьей нерушимой.

Счастье – это солнце на балконе,
Золото горячее сквозь веки:
Остальное всё в ночах потонет,
В буднях затеряется навеки.

А любовь – лишь первое свиданье,
Тайный трепет, робкая приглядка:
Остальное всё – словами станет,
В стих посаженными, будто в грядку.

Смерть – пока не знаю, что такое:
Может, то, что к сердцу подступая,
Так тревожно бьётся под рукою,
Когда я с молитвой засыпаю.

KWIATY POLSKIE

(Z poematu)

Więc jak pachniałeś, bieże warszawski,
Kiedy, rażąca i nieznosna,
Przyszła, ruiny strojąc w blaski,
Nowej niewoli pierwsza wiosna?
Gdy szafirami się uświetnił
Bezwstydnie piękny strop niebieski,
Ty, znad ogrodzeń wzdłuż Królewskiej,
Z zarośli przy Teatrze Letnim,
I ty, od Żabiej, od Niecałej,
I z tego wzgórza ponad stawem,
Na którym w owym wrześnie krwiawym
Ptaki, od huku oszalałe,
Przed śmiercią – jeszcze pożegnały
Łabędzią pieśnią swą Warszawę!
Jakżeś ty wstydem nie zapłonił,
Kiściami pachnąc obfitymi?
Nic nie mów. Nie chcę znać tej woni...
Lecz już chrapami rozdętymi
Węszę twój mokry, chłodny zapach,
Gdy znów nurtować będę w krzakach
Świeżego bzu na wolnej ziemi.

ПОЛЬСКИЕ ЦВЕТЫ

(Отрывок из поэмы)

Ах, как безудержно цвела ты,
Сирень, весной той проклятой,
Первой весной неволи нашей,
Когда красой своею страшен
Был небосвод бесстыдно яркий,
Развалины – в зелёном блеске...
Как пахла ты, сирень с Крулевской,
У летнего театра в парке;
Как пышной пеною стекала
С оград на Жабьей, на Нецалой,
С холма, где в сентябре кровавом
Шальные от пожара птицы
Взлетали – со своей Варшавой
Предсмертной песнею проститься!
А ты – цвела! Да как ты смела!
Как со стыда ты не сгорела?
Молчи! Не пахни! – Не хочу я...
Но жадными ноздрями чую
Другой твой запах – свежий, влажный,
Который я вдохну однажды
В свободной Польше. Вот тогда-то

O, jakie salwy aromatu
Zagrzmia z gałęzi twych kwitnących,
Z paków na wiwat pękających,
Na zazdrość i na dziw armatom,
Armatom tobą umajonym,
Grzmocącym hordy rozgromione
Tych zbirów, łotrów, szuj, psubratów,
Szubrawców, rozbojników, katów –
A to nie tylko o gestapo,
O «hitlerowcach» czy «rasistach»
Ta komplementów krótka lista.

.....
I wy, warszawskie psy, w dniu kary
Psi obowiązek swój spełnijcie,
Zwycie się wszystkie i zbegnijcie
Straszliwie pomścić swe ofiary.
Za psy, bombami rozszarpane,
Za zmarłe pod strzaskanym domem,
Za te, co wyli nad swym panem,
Drapiąc mu ręce nieruchome;
Za te, co z wdziękiem beznadziejnym
Łasiły się do nieboszczyków,
Za śmierć szczeniactwów, co w piwnicy
Jeszcze bawiły się w koszyku;
Za biegające rozpaczliwie,

Какие залпы аромата
С твоих ветвей цветущих грянут,
С тугих кистей, от счастья пьяных!
И будут лопаться бутоны,
Салютом праздничным взрываясь,
На удивление и зависть
Стволам орудий раскалённым –
Орудий, зеленью увитых,
Громящих извергов, бандитов,
Ублюдков, палачей, сатрапов,
Причём не только для гестапо,
СС и прочих интервентов
Сей краткий список комплиментов.

.....
И вы, собаки всей Варшавы,
Верните долг собачьей чести:
Сбегитесь, свойтесь в день расправы
И отомстите страшной мезтью
За псов, разорванных фугаской,
За псов, заваленных в руинах;
За тех, что с запоздалой лаской
Лизали руки господина,
Его будили безуспешно
И выли, выли безутешно;
За смерть щенят своих невинных,
Игравших в лыковых корзинах;
За нежных комнатных собачек,

Pozostawione po mieszkaniach,
W dymie duszące się, półżywe,
Pamiętające o swych paniach;
Za nastroszone, za wierzące,
Co człowiek wróci – bo pies czeka:
I tak, w pozycji czekającej,
Siadł ufny pies na grób człowieka:
Za wzrok błagalny, przerażony
Tumultem, trzaskiem, pożarami,
Za psy, co same pazurami
W ogrodach ryły sobie schron
Za wszystkie męki i niedole,
Własne i tych, co was kochali,
Śród wspólnych ścian i śród rozwalin,
Zwyjcie się, bracia, na Psie Pole!
Niechaj w was wściekłe piany wzbiorą,
I hurmem w trop zdyszana sforą,
W trop, kiedy z Polski będą dymać
I tylko pludry w garści trzymać!
O cegły gruzów kły wyostrzcie
I o zbełałe ludzkie koście,
A gdy ich dopadniecie skoczcie
Do grdyk, brytany, do gardzieli!
Ostryimi kłami wgryźć się, szarpnąć,
By nie zdążyli, hycle, charknąć!
Do grdyk, wilczyce! A pazury

Что задыхаясь, с детским плачем
Мечась в квартирах, полных дыма,
Своих хозяек звали милых;
За верных псов, что недвижимо
Сидели на людских могилах
В привычной позе ожиданья;
За эти, полные страданья,
Собачьих глаз немые взоры;
За псов, что прячась от снарядов,
Среди грохочущего ада
Себе когтями рыли норы, —
За все мученья и проклятья,
Свои — и тех, что вас любили —
На Поле Псов сбегитесь, братья,
С развалин, пепла, мёртвой пыли.
И пусть вас душит пена злая!
В погоню, бешеная стая! —
Когда они во все лопатки
Из Польши дёрнут без оглядки!
В погоню, мстители! — Настигнуть,
С разлёту им на плечи прыгнуть,
Рвануть кадык, во вражье горло
Всадить клыков стальные свёрла,
А когти — в зенки! — Без пощады,
Чтоб не моргнули даже гады!
Вперёд, на глотки, волкодавы!

W ślepią! by nawet nie mrugnęli.
A powalonych niech opadną
Wojska pomniejszych psów-mścicieli,
Niech ich poszarpią na kawały,
Żeby i matki nie wiedziały,
Gdzie szukać rozwłóczonych cząstek!..
Bo nasze też nie znajdowały
Główek swych dzieci, nóżek, piąstek...

.....
Rano odwiedził dwie mogiły:
Córki i kwiatów. Córkę kryły
Pożółkłe, zmokłe liście klonu:
Świeży się zapach z nich ulatniał,
Jesiennie rześki, choć przegniły.
Druga mogiła była bratnia.
Gniły tam w lejach od granatów
Skoszone bataliony kwiatów.
I trupy w rowie, który wił się
Wężyskiem wklęsłym po ogrodzie,
A drząc na chłodzie, moknąc w wodzie,
Do pobliskiego lasu zmykał...
I kupą cegieł, gontów, belek
Jeszcze się w wilgnym tlił popiele
Samotny domek ogrodnika...

А кто помельче — всей оравой
Пускай поваленных обсядут
И растерзают падаль эту,
И разметут по белу свету.
И те, что извергов родили,
Пускай и клочьев их не сыщут...
Как мы на чёрных пепелищах
Своих детей не находили...

.....

С утра сходил на две могилы:
К цветам и к дочке. Дочь укрыли
Своей листвой опавшей клёны,
И запах прели, свежий, тонкий,
Был в воздухе осенне стыллом...
Вторая — братская могила:
Там гнили в бомбовой воронке
Цветов погибших батальоны.
Вода их тихо обнимала
И рвом извилистым по саду
Несла — озябших и промокших —
Туда, подальше, за ограду,
В соседний лес... Ещё дымок шел
Из груды кирпичей и балок:
Ещё под пеплом, в мокром ломе
Тлел цветовода бедный домик ...

Wracał do miasta twardym krokiem,
Raz dwa trzy cztery.
Dumy głębokie, dumy wysokie
Niosły go naprzód rwącym potokiem,
Wiatr dwa trzy cztery.
Kładła się zwiędła trawa-bylica
W polu szerokiem,
Tęsknie szumiała rzeka Pilica
Rokiem-Wyrokiem.
Wiatr pogwizdywał ostro i cienko,
W uszach dzwoniło starą piosenką:
*«Ach, moja droga, ach, moja miła,
Cóżżeś ty z sercem moim zrobiła?»*
Raz dwa a resztę wiatr
Porwał i poniósł w daleki świat...

В город обратно — твёрдым шагом:
Раз — два — три — четыре.
Думы глубокие, думы высокие
Гнали вперёд его, будто в потоке,
Раз — два — три — четыре.
Травка полынь увядала, клонилась
В поле широком,
Речка Пилица тоскливо бранилась
С роком-пророком,
Ветер студёный посвистывал яро,
В уши названивал песенкой старой:
*«Ах, моя дрога, ах, моя мила,
Что же ты с сердцем моим зробила?»*
Раз — два... — Остальное ветер
Унёс и развеял в далёком свете...

NA KRYTYKA

Oto krytyk, który idealnie
Umie geniusz połączyć z głupota,
Każdym słowem dowodząc genialnie,
Że jest bardzo wybitnym idiotą.

NAGRÓBEK

Tutaj leży chemik Dezydery,
Który wypił aż po samo dno
Pełne wiadro H_2SO_4 ,
Myśląc, że to zwykła H_2O .

НА КРИТИКА

Ум с дурью совмещая идеально,
Он каждым словом из своих работ
Доказывает всем нам гениально,
Что автор их – полнейший идиот.

ЭПИТАФИЯ

Здесь видный химик упокоен в мире:
Он выпил как-то полное ведро
Очищенной H_2SO_4 ,
Решив, что в нём простая H_2O .

MAŁOMÓWNA MATKA

Anielcia miała matkę bardzo małomówną,
Więc, gdy kiedyś spytała z miną zatroskaną:
«Powiedz, droga mamusiu, co to jest guano?»
Mama odrzekła: «G...o».

POWITANIE

Führer, jak zwykle, kuł w płot:
Gdy wkroczył do nieba, warknął: «*Heil Hitler!*»
Pan Bóg pomyślał: niewychowane bydło...
Potem westchnął i powiedział: «*Grüß Gott*».

МОЛЧАЛИВАЯ МАМА

Молчаливая мама у девочки Ганны:

Вместо дюжины слов еле скажет одно...

Слушай, мамочка, что это значит – «гуано»?

И ответила мама: «Г...о».

ПОЗДОРОВАЛИСЬ

Нег Führer на небе ошибся немного:

Он рявкнул: «Хайль Гитлер!», увидевши Бога.

Господь осерчал: неотёсанный скот... –

Но только вздохнул и ответил: «Грюсс Гот*».

* Распространённое баварское приветствие, которое дословно можно перевести: «Приветствуй Бога!».

KARTKA Z DZIEÓW LUDZKOŚCI

Spotkali się w święto o piątej przed kinem
Miejscowa idiotka z tutejszym kretynem.

Tutejsza idiotko, – rzekł kretyn miejscowy, –
Czy pragniesz pójść ze mną na film przebojowy?

Miejscowa kretynka odrzekła: – Z ochotą,
Albowiem cię kocham, tutejszy idioto.

Więc kretyn miejscowy uśmiechnął się słodko
I poszedł do kina z tutejszą idiotką.

Na miłym macaniu spłynęła godzinka,
I była szczęśliwa miejscowa kretynka.

СТРАНИЧКА ИСТОРИИ

По скверу порою волнующей вешней
Шёл местный кретин с идиоткою здешней.

– Кретинка, – сказал идиотина местный,
Пойдёшь ли со мною на фильм интересный?

В ответ идиотка: – Мой милый, конешне,
Поскольку ты люб мне, кретиношка здешний!

Они обжимались, начхав на картину,
И сладостно местному было крестину.

Но вскоре кретинка, прильнув к идиоту
Шепнула: – Мне скучно и кушать охота.

Aż wreszcie szepnęła: – Kretynie tutejszy!
Ten film, mam wrażenie, jest coraz nudniejszy.

Więc poszli na sznycel, na melbę, na winko
Miejscowy idiota z tutejszą kretynką.

Następnie się zwarli w uścisku zmysłowym
Tutejsza idiotka z kretynem miejscowym.

W ten sposób dorobią się córki lub syna:
Idioty, idiotki, kretynki, kretyna,

By znowu się mogli spotykać przed kinem
Tutejsza idiotka z miejscowym kretynem.

И здешний кретин, улыбнувшись прелестно,
Пошёл в кабачок с идиоткою местной.

Под рыбку и шницель была четвертинка,
И здешняя млела от счастья кретинка...

И местный кретин, разгоревшись от водки,
В объятия здешней упал идиотки.

Глядишь – и заделают дочь или сына:
Идиота, идиотку, кретинку, кретина –

Чтоб снова сойтись на свиданке воскресной
Мог здешний кретин с идиоткою местной.

PTASIE PLOTKI

Przyszła gąska do kaczuszki,
Obgadały kurze nóżki.

Do indyczki przyszła kurka,
Obgadały kacze piórka.

Przyszła kaczka do perliczki,
Obgadały dziób indyczki.

Kaczka kacze wykwała,
Co gęś o niej nagegała.

Na to rzekła gęś, że kaczka
Jest złodziejka i pijaczka.

O indycze zaś pantarka
Powiedziała, że plotkarka.

Teraz bójka wśród podwórka,
Że aż lecą barwne piórka.

ПТИЧЬИ СПЛЕТНИ

Гуска с уткой на кормёжке
Обсудили кури ножки.

Квочка встретила индейку –
Осмеяла гусью шейку.

Та к цесарке побежала –
Клюв утиный обругала.

У пруда цесарка утку
Отозвала на минутку

И шепнула, что индейка,
Мол, воровка и злодейка,

Мол, у нашего корытца
Лишь о том и говорится...

Выхожу во двор теперь я:
Так и выются пух да перья!

PIOSENKA UMARŁEGO

Dusza z ciała wyleciała,
Na zielonej łące stała.
Ja pobiegłem, patrzę na nią:
Nie wiedziałem, żeś ty anioł.

A tyś anioł jak z obrazka,
Nad twą głową wieńcem łąska
Szkłane oczy, lniane włosy,
Suplikacje wniebogłosy.

Powruć ze mną do miasteczka,
Pobekując jak owieczka,
Podaj rączkę, białoruna,
Niech nie mówią, że ja umarł.

U trumniarza na wystawie
W srebrnym gaju cię postawię;
Na drewnianej, twardej łączce,
Z papierową lilią w rączce.

Staną gapie za szybami,
A ty ruszaj skrzydełkami,
A ty stukaj sztywną nóżką,
Zatracona moja duszko!

ПЕСЕНКА ПОКОЙНИКА

Унеслась душа из тела
На лужок зелёный села.
Я – за нею, догоняю:
Вот не знал, что ты – такая!

Ты же – ангел. Как с иконы:
Над головкой – нимб короной,
Златокудра, белолица,
Райский дух кругом струится.

Слушай, божия овечка!
Не вернуться ль нам в местечко?
Ты да я – вот будет номер!
Пусть не брешут, что я помер.

Будешь ты стоять отныне
У гробовщика в витрине,
Меж венков из белой жести,
И держать в ручонке крестик.

Набегут зеваки мигом –
А ты крылышками двигай,
Стукай ножкой, как игрушка,
Моя конченная душка...

SPRZECZKA Z ŻONĄ

Lojalnie mówię do żony:
«Małżonko, jestem wstawiony».
Odrzekła z pogardą: «Błazen!
Uważam, że jesteś pod gazem».

Mówię: «Przesady nie lubię.
Przysięgam ci, że mam w czubie».
Powiada: «Kłamiesz, kochany.
Twierdzę, że jesteś pijany».

«Nie przeczę, – mówię, żem hulał,
Lecz jam się tylko ulułał».
Odrzekła: «Łżesz, jak najęty.
Poprostu jesteś urżnięty».

«Ja, mówię, _ nic nie skłamałem, –
Doprawdy, pałę zalałem».
«Kłamstwo, powiada, co krok!
Jesteś urżnięty w sztok».

СЕМЕЙНАЯ ССОРА

С аванса или же с зарплаты
К жене вернулся я поддатый
И сходу честно доложил,
Что, мол, за галстук заложил.

Жена сердито оборвала:
«Ишь, залил zenки, поддавала.
За галстук! Не терплю вранья:
Ты нализался как свинья».

«Пардон, мадам, – шепчу в обиде, –
Я нахожусь в нетрезвом виде:
Я с корешами загудел,
Захорошел и забалдел».

Она в ответ: «Не ври, безбожник –
Косой в дрезину, как сапожник!»
– «Да нет же, – спорю я с женой, –
Я, правда, тёпленький, хмельной!»

«Oszczersztwo! – oświadczam z gestem.
Pijany jak bela jestem».
«Baranek! – krzyczy, – bez winy!
A kurzy mu się z czupryny».

Wyję: «Niech pani przestanie!
Ja jestem w nietrzeźwym stanie».
«Łżesz, – mówi znów, – Jak najęty!
Trynknięty jesteś, trynknięty!»

«Nieprawda, – ryknęłam na to, –
Ja jestem pod dobrą datą!»
«Gadaj, – powiada, – do ściany,
Wiem dobrze: Jesteś zalany!»

«Jędzo, – szepnęłam, – przestaniesz?
Ja zryty jestem! Ty kłamiesz!»

.
Godzinę trwała ta sprzeczka,
Aż poszła na wódkę żoneczka.
A ja, by się nie dać ogłupić,
Także poszedłem się upić.

Поди поспорь с моей старухой...
Орёт: «Ты брешешь! Ты – под мухой!»
«Ну да, – толкую, – ты права:
Набрался так, что жив едва!»

Жена заходится от крика:
Бухарик! Ты не вяжешь лыка!
Алкаш, питух! Ты вусмерть пьян,
В дымину, в стельку, в драбадан!»

«Так я ж, – кричу, – не спорю вроде:
Кирной, под газом я, на взводе!!»
Супруга, перейдя на визг:
«Наклюкался! Как зюзя! Вдрызг!

Пропойца! Змей!» – «Заткнись, гиена»...
Весь вечер длилась эта сцена.

.....
В конце концов сорвали глотки,
Жена ушла на рюмку водки,
А я – чтоб в дурнях не остаться –
Пошёл куда-нибудь надраться.

O PANU TRALALIŃSKIM

W Śpiewowicach, pięknym mieście,
Na ulicy Wesolińskiej
Mieszka sobie słynny śpiewak,
Pan Traliśław Tralaliński.
Jego żona – Tralalona,
Jego córka – Tralalurka,
Jego synek – Tralalinek,
Jego piesek – Tralalesek.
No a kotek? Jest i kotek,
Kotek zwie się Tralalotek,
Oprócz tego jest papużka,
Bardzo śmieszna Tralalużka.

Co dzień rano, po śniadaniu,
Zbiera się to zacne grono,
By powtorzyć na cześć mistrza
Jego piosnkę ulubioną.

ПРО ПАНА ТРАЛЯЛИНСКОГО

В славном городе Свистульске,
В переулке Веселинском
Жил-был тенор знаменитый,
Пан Траліслав Тралялинский.
С ним жила его супруга –
Молодая Тралялюга,
И сыночек Тралялёчек,
И дочурка Тралялюрка.
А у дочки был котёнок
По прозванью Тралялёнок,
А у сына – попугайчик,
Разноцветный Траляляйчик.

По утрам в саду, бывало,
Собиралась вся орава
Тешить песенкой любимой
Папу – пана Траліслáва.

Gdy podniesie pan Traliśław
Swą pałeczkę – tralaleczkę,
Wszyscy milkną, a po chwili
Śpiewa cały chór piosneczkę:
«Trala trala tralalala
Tralalala trala trala!»
Tak to pana Traliśława
Jego świetny chór wychwala.
Wyśpiewują, tralalują,
A sam mistrz batutę ujął
I sam w śpiewie się rozpała:
«Trala trala tralalala!»

I już z kuchni i z garażu
Słychać pieśń o gospodarzu,
Już śpiewają domownicy
I przechodnie na ulicy:
Jego szofer – Tralalofer
I kucharka – Tralalarka,
Pokojówka – Tralalówka
I gazeciarz – Tralaleciaż,

Папа палочку поднимет –
Сразу стихнут разговоры,
Все в кружок встают и песню
Запевают дружным хором:
«Траля траля траляляля
Траляляля траля траля!» –
Так маэстро Тралислава
Хор семейный громко хвалит.
Все усердно траляляют,
Сам маэстро в хор вступает
И поёт в большом запале:
«Траля траля траляляля!»

И, не в силах удержаться,
Подпевают домочадцы:
Во дворе, на кухне тоже,
И на улице прохожий.
Тут и шофер – Тралялёфер,
И кухарка – Тралялярка,
Гувернантка – Тралялянтка,
И газетчик Тралялетчик,

I sklepikarz – Tralalikarz;
I policjant – Tralalicjant,
I adwokat – Tralalokat,
I pan doktor – Tralaloktor.

Nawet mała myszka;
Myszka – Tralaliszka;
Choć się boi kotka,
Kotka – Tralalotka,
Siadła sobie w kątku,
W ciemnym tralaląntku,
I też piszczy cichuteńko:
«Trala – trala – tralaleńko...»

Полицейский – Тралялейский,
И кондитер – Тралялитер,
И аптекарь – Тралялекарь,
И пан доктор – Тралялёктор.

Даже крошка мышка,
Мышка Тралялишка,
Хоть боится кошки,
Жадной Тралялёшки, –
Села в уголочке,
В тёмном тралялёчке,
И пищит себе тихонько:
«Траля – траля – тралялёнько!»

OTO WIDZISZ, ZNOWU IDZIE JESIEŃ...

Oto widzisz, znowu idzie jesień;
człowiek tylko leżałby i spał...
Założę swój szmaragdowy pierścień:
blask zielony będzie miło grał.
Lato się tak jak skazaniec kładzie
pod jesienny topór krwawy bardzo,
a my wiosnę widzimy w szmaradzie,
na pierścieniu, na twym jednym palcu.

1937

Константы-Ильдефонс Галчиньски (1905–1953)

ВИДИШЬ, СНОВА ОСЕНЬ...

Видишь, снова осень, дождик нудный:
Так с утра опять бы лёг да спал...
Ты надень свой перстень изумрудный,
Чтоб зелёным светом заиграл.
Лето, как на плахе под багровым
Осени тяжёлым топором,
А у нас весна сверкает снова
В перстеньке, на пальчике твоём.

1937

LIST JEŃCA

Kochanie moje, kochanie,
dobranoc, już jesteś senna –
i widzę twój cień na ścianie,
I noc jest taka wiosenna!
Jedyna moja na świecie,
jakże wystawię Twe imię?
Ty jesteś mi wodą w lecie
i rękawicą w zimie.
Tyś szczęście moje wiosenne,
zimowe, letnie, jesienne,
lecz powiedz mi na dobranoc,
wyszeptaj przez usta senne:
za cóż to taka zapłata,
ten raj przy Tobie tk błogi?...
Ty jesteś światłem świata
i pieśnią mojej drogi.

Obóz Altengrabow, 1942

ПИСЬМО УЗНИКА

Спокойной ночи, родная!
Ты дремлешь уже, я знаю:
Уж тень твоя стала клониться
На стенке моей темницы.
Ты здесь, хоть тебя здесь нету,
Твой лик наяву мне снится —
Ты мне — вода знойным летом,
А в зимний мороз — рукавица.
Ты счастье моё зимою,
И осенью, и весною,
Ты только «спокойной ночи»
Шепни, будто ты со мною...
Скажи мне, за что мне это,
За что этот рай с тобою,
Со светочем целого света
И песней моей путевою?

Лагерь Альтенграбов, 1942

LEKCJA GEOGRAFII

Pod wielką mapą imperium
odpocząć jak kto potrafi.
Kończymy bliską Syberią
skrócony kurs geografii.

Śpi kto spać może po drodze,
trudnej jak lekcja historii
na wielkiej pustej podłodzie
egzamin wstępny katorgi.

Najmłodszy w mapę jak w okno
patrzy, czytując litery
układa drogę powrotną
przez białe wiorsty papieru.

УРОК ГЕОГРАФИИ

На карте огромной империи
От края до края дорогу
Профессор указкой меряет,
Студенты сачкуют, как могут.

И мокрым шинельным ворсом
Пропахла аудитория.
Сибири кандалные вёрсты
Горьки, как учебник истории.

На карте, как в окнах, мелькают
Названия станций таёжных.
Кто младше запоминает:
Маршрут побегов возможных;

Dwaj inni usiedli razem,
dręczą się w mokrych ubraniach,
jakby tu ojcu pokazać
naganne ze sprawowania;

Ten ściągnął buty, tarł palce,
ten nogą zdrętwiałą kołysze,
ten jeszcze myśli o walce,
ten Odyseję już pisze.

Szynele o wyrok za duże;
kij od wilgoci poczerniał;
książki tobołki podróżne
pod welką mapą imperium.

Иной погрузился в дрёму,
Другого грызут сомненья:
Как отнесутся дома
К «четвёрке» по поведению;

Кто, скинув сырые бахилы,
Растёртой ногой колышет,
Кто копит к восстанию силы,
А кто одиссею пишет.

Чернеет след от сопрелой,
Как посох дорожный, указки;
На карте огромной империи
Сибирь до самой Аляски...

ИЗ ИЦИКА МАНГЕРА

ПЕРЕВОДЫ С ЕВРЕЙСКОГО

Вначале в разделах «С языка идиш» и «С иврита», как и для европейских языков, на левых (чётных) страницах, были оригиналы, а на правых (нечётных) параллельно, строка в строку – их перевод на русский язык.

Но потом, поскольку читающих по-еврейски мало, я заменил подлинники их русской транскрипцией, стараясь поточнее передать их звучание буквами русского алфавита. Пришлось добавить только букву «h», которая в нём отсутствует: она передаёт тот же звук, что украинское и белорусское «г» (или еврейское «ג»). При этом всегда использовал лишь строчное «h», поскольку заглавное путается с русским «Н».

Иногда применяется также знак «'»: он заменяет в еврейских текстах русские буквы «ъ» или «ь».

В обоих еврейских языках звук «и» произносят немного твёрже, чем в русском: иногда я его изображаю буквой «ы», – это не совсем точно, но ближе к правильному произношению. Звук «л» в *идише* всегда твёрдый (даже в словах, взятых из немецкого), а в *иврите* мягкий. А в общем, звучание оригинала передаётся вполне точно, так что читатель может не только получить представление о нём, но и прочесть кому-нибудь из «настоящих евреев», и те поверят, что вы – таки-да – умеете читать!

КАК ЭТО БЫЛО

Мои детство и юность период, когда все пишут стихи, прошли в поганые сталинские годы: родился я за две недели до убийства Кирова и начала террора, а совершеннолетия достиг между расстрелом еврейских писателей и намечаемым повешением еврейских врачей на Красной площади. Родители мои, могилёвский парикмахер и рогачёвская портниха, стали коммунистами в самом начале революции и старательно ограждали своих сыновей от влияния «еврейского национализма»: на родном языке они общались только наедине или когда хотели что-то от нас утаить. Одна лишь старенькая беспартийная тётушка Рохл, не знавшая русского языка, иногда произносила смешные и непонятные нам словечки: «азохунвэй», «а клог цу майнэ йорн», «брохэс», «тохэс», «кадохэс», а также «Рибойнэ шел ойлэм!» и «Гот майн, Гот, фарзух майн компот!»

Правда, и её идиш тоже со временем деградировал, засорялся уморительными построениями типа «а разрушэтэр мит а бомбэ дом», но всё-таки именно ей я обязан тем, что «почти всё понимаю, только говорить не могу!».

Лишь «в возрасте Иисуса Христа» (восторг Шестидневной войны и пробуждение национального самосознания!) я попытался с помощью журнала «Советише Геймланд» учиться читать еврейские буквы. Родителей

уже не было в живых, литературы на иврите ещё не было у нас, о еврейской культуре я не имел ни малейшего представления.

И тут мне повезло: я встретил Учителя! У него было имя библейского пророка; фамилию его носили многие блестящие деятели еврейской литературы и искусства на языке идиш – это был Цфания (по-русски его тёзка-пророк зовётся Софония) Яковлевич Кипнис, художник почти всех еврейских театров от Бреста до Биробиджана, закрываемых властями один за другим; великий знаток национальной культуры, литературы, религии и народных традиций, фольклора, местечкового быта и, конечно, обоих национальных языков.

Он был стопроцентный еврейский интеллигент старой школы, романтик и убеждённый сионист. Цфания – так мы его звали с энтузиазмом помогал нам, отказникам, в борьбе за выезд в Израиль, в запоздалом освоении национальных традиций и праздников... А когда наша семья добилась разрешения на выезд, мы покинули Минск в одном купе. Но доехали вместе только до границы: в Бресте его задержали и доставили в подземную тюрьму минского КГБ. Следствие пыталось «пришить» ему создание всесоюзной антисоветской сионистской организации...

В юности Цфаню уже сажали за сионизм: ровно полвека назад, в 1922 году. Тогда в камерах было тесно; теперь дали «одиночку»...

Только через полгода, под давлением Запада, так называемое «Дело 97» прекратили, и Кипнис прибыл в Израиль.

Последние годы жизни он отдал памяти старых друзей, членов Еврейского Антифашистского комитета, расстрелянных Сталиным в 1952 году, — оформлял и издавал их произведения.

Цфания Кипнис был знаком или дружен со многими еврейскими художниками, писателями и поэтами, но в *Ицика Мангера* он был буквально влюблён. Читал наизусть его стихи, цитировал «хохмы», восторгался тонкостью его понимания еврейской души и тем неподражаемым юмором, с которым Мангер переносил библейские истории на почву современных ему галицийских или польских местечек. При этом, зная мои переводы с других языков, Цфания деликатно и невинно время от времени напоминал, что Ицика Мангера «ещё никто никогда не переводил на русский!» И в конце концов он-таки усадил меня за работу...

Не беда, что я не читаю на идиш! Кипнис отбирал свои любимые стихи, переписывал их мне русскими буквами, комментировал каждое словечко и образ; рассказывал о народной символике, о деталях быта, обрядах, блюдах... От павлина и козочки до селёдки и еврейского «кофе» из чистого цикория.

Увы, наше сотрудничество длилось недолго. Его мечта увидеть первую книгу Мангера на русском языке не осуществилась. Я успел перевести и напечатать лишь первые несколько стихотворений (журнал «Сион» № 24/1979).

Хотел посвятить эти переводы ему, но Цфаня категорически запретил.

С его смертью я осиротел. Даже в Израиле маловато осталось знатоков языка рассеяния, нашего «мамэлошн». Но к Мангеру я время от времени возвращаюсь: чувствую себя в долгу перед Цфаней Кипнисом.

Благословенна будь память этого неугомонного, вечно юного человека!

ОБ ИЦИКЕ МАНГЕРЕ

Ицик Мангер выдающийся еврейский поэт, писавший на языке идиш, родился в 1901 году в Черновицах, в семье портного. Отец, едва зарабатывая на пропитание семьи, был тем не менее, как вспоминал Мангер, большим юмористом и ловким рифмачом; в праздник Пурим отец часто разыгрывал вместе с портняжками-подмастерьями традиционный «Пуримшпил» собственного сочинения.

Фольклор еврейского местечка, бродские песельники, кочующие по Галиции и Бессарабии цыгане, затем театр Гольдфадена и знакомство в гимназии с творчеством Гейне, Шиллера, Гете — всё это отразилось в стихах и балладах Ицика Мангера. Его дебют в печати — баллада «Портрет девушки» (журнал «Культур», 1921); позже он печатался в еврейских журналах «Унзер ворт» («Наше слово», Бухарест), «Литерарише блэттер» («Литературные страницы», Варшава), «Уфкум» («Возрождение», Нью-Йорк) и других. В 1929 году вышел первый сборник стихов Ицика Мангера «Штерн ойфн дах» («Звёзды на крыше»); второй, «Ламтерн ин винт» («Фонари на ветру») издан в 1933 году, а ещё через два—три года появились исключительно высоко оцененные критикой «Хумэш лидер» («Библейские песни»).

Когда нацисты оккупировали Францию, Ицик Мангер жил в Париже. Чудом ему удалось уехать в Англию,

откуда в 1951 году он перебрался в Соединённые Штаты. В 1958 году, впервые собираясь в Израиль, он писал в своей характерной манере: «Долго шатался я по чужим странам, но теперь еду, наконец, шататься дома». В Израиле он и умер через 11 лет.

В Антологию мировой поэзии, изданную ЮНЕСКО, стихи Ицика Мангера вошли во французских переводах. Многие — и не только еврейские — читатели разных стран знают его в переводе на английский, немецкий, польский, румынский, литовский языки, а также, разумеется, на иврит. И лишь на русский, в Советском Союзе, его никогда не переводили: считали, видимо, крамольным поэтом. Похоже, что мне — правда, уже в Израиле, в 1978 году, — посчастливилось сделать это первому.

ДЭР НОВИ

Х'бин дэр нови, вос хот фарлойрн
 Дос ворт фун Гот ойфн вэг цу айх.
 Ицт штэй их а фаршемтэр ойфн шлях
 Ун викл майн гуф ин зибн тройерн.

Зол их онклапн ун рахамим бэтн,
 Вайл х'бин гекумэн он а тропн трэйст?
 Ци зол их воглэн, ви а фойгл он а нэст,
 Биз ды митн-нахт вэт мих цэтрэтн?

Винт, ду эйбикер унруэ фун дэр вэлт,
 Симвól фун тойес ун фун воглэн –
 Лоз тринкен фун дайнэ шварцэ логлэн
 А вандэрэр, ви ду, он а гецэлт.

ПРОРОК

Я ваш пророк, я Слово нёс от Бога,
Но потерял на полпути в ваш дом
И вот стою, охваченный стыдом,
И в семь печалей кутаюсь как в тогу.

Стучаться к вам, о милости моля,
Хотя и не принёс заветных слов я?
Или кружить, как птица без гнездовья,
Пока не поглотит меня земля?

О ветер, дух мятежной суеты,
Метаний вечных символ и ошибок!
Дай из твоих клубящихся кувшинов
Испить мне – бесприютному, как ты.

Дэр лэцэр холэм — дэм нови, вос фарлюйрн
 Дос ворт фун Гот — ойфн вэт цу айх,
 Ун штэйт ипт а фаршметэр ойфн шлях
 Ун викит зайн гүф ин зибн тройерн.

Зингендыке тайхн дэр эрл,
 Ин айрэ хвалес блиэн витн-лидэр —
 Лозт мих тринкен ун холэмен а мидэр
 Дэм лэцтн холэм, вос из мир башерт.

Блиэндыкер штерн фун дэр нахт,
 Символ фун блэндэнш ун фалин —
 Лоз дайнэ лэцтэ голэнэ штралин
 А лайхтунт зайн фар майн штылэр нахт.

О полночи летучая звезда!
Ты – символ взлёта, блеска и крушенья –
Последний луч свой дай мне в утешенье,
Чтобы светил в ночи моей всегда.

О медленные волны тихих рек,
Несущих колыбельные напевы,
Последний тихий сон навейте мне вы –
Пускай заснёт усталый человек,

Пророк, который Слово нёс от Бога,
Но к людям донести его не смог –
И замер на скрещении дорог,
Завёрнут в семь печалей, будто в тогу.

ДОС ЛИД ФУН ДЭР ГОЛДЭНЭР ПАВЭ

Из ды голдэнэ павэ гефлойгн авэк

Кайн мизрах зухн ды Нэхтыке Тэг.

Трили, траля.

Флит зи ун флит биз зи трэфт ин ды берг

Ойф а вайсэр шкапэ ан алтн тэрк.

Тут им ды голдэнэ павэ а фрэг:

«Цы хосту гезэн ды Нэхтыке Тэг?»

Фаркнэйчт дэр тэрк дэм штэрн ун клэрт:

Ды нэхтыке тэг нышт гезэн, нышт гехэрт!

Ун а цыи ды лэйцэс, ун «Вьё!» цум фэрд,

Ун с'клингт ин ды берг зайн ха-ха-ха:

«А голдэнэр фойгл ун а нар аза!»

Из гефлойгн ды голдэнэ павэ авэк

Кайн цофн зухн ды Нэхтыке Тэг.

Трили, траля.

Зэт зи а фишэр байм брэг фун ям

Шпрэйт ойс зайн нэц ун зынгт цум грам.

Ин зайн лид брэнт а файер, ун с'шлофт а кинд,

Ун а блондэ фрой зыцт байм шпинрод ун шпинт.

Тут им ды голдэнэ павэ а фрэг:

«Цы хосту гезэн ды Нэхтыке Тэг?»

ПЕСЕНКА ПРО ЗОЛОТОГО ПАВЛИНА

А павлин золотой всё в пути да в пути:
Захотелось ему день вчерашний найти.
Три-ли-ли, тра-ля-ля...
Он летел на восток и в нагорной стране
Встретил старого турка на белом коне,
И спросил, золотым опереньем звеня:
«Не встречал ли ты, старче, Вчерашнего Дня?»

Турок брови под красною феской собрал:
«День вчерашний сегодня? Вовек не слышал!
Золотой ты павлин, а видать, что дурак!»
И поводьями дёрнув, уехал во мрак.

А павлин золотой в путь-дорогу опять:
Он на север летит день вчерашний искать.
Три-ли-ли, тра-ля-ля...
И когда уже мочи не стало лететь,
Видит крепкий рыбак тянет крепкую сеть;
Тянет, песню мурлыча и трубкой пыхтя:
Крепкий дом в его песне, и в люльке дитя,
И прядёт белокурая мать у огня...
«Не встречал ли ты, дядя, Вчерашнего Дня?»

Фаркнэйчт дэр фишэр дэм штэрн ун клэрт:
Ды нэхтыке тэг нышт гезэн, нышт гегхэрт!
Ун эр фарэндыхт зайн лид мит тра-ля-ля:
«А голдэнэр фойгл ун а нар аза!»

Из гефлойгн ды голдэнэ павэ авэк
Кайн дорэм зухн ды Нэхтыке Тэг.
Трили, траля.
Зэт зи а негэр ин митн фэлд,
Фаррихтн мит штрой-голд зайн орэм гецэлт.
Тут им ды голдэнэ павэ а фрэг:
«Цы носту гезэн ды Нэхтыке Тэг?»

Фарщырэт дэр негэр ды вайсэ цэйн:
А шмэйхл аза, вос из мólэ хэйн,
Ун эр энтфэрт горнышт, эр зогт нор «ha?»:
А голдэнэр фойгл ун а нар аза!

Из гефлойгн ды голдэнэ павэ авэк
Кайн марив зухн ды Нэхтыке Тэг.
Трили, траля.
Трэфт зи а фрой ин шварцн, вос книт
Нэбн а кейвэр, дэршлогн ун мид.
Фрэгт горнышт ды павэ. Зи вэйст алэйн,
Аз ды фрой ин шварцн, вос шпрэйт ир гевэйн
Иберн кейвэр, байм ранд фун вэг,
Из ды алмонэ фун ды «Нэхтыке Тэг».

Трубка выпала, руки упёрлись в бока,
И безудержный смех одолел рыбака,
И металось по скалам, несло над водой:
«Вот дурак так дурак! А ещё золотой!»

А павлин золотой в путь-дорогу опять:
Полетел он на юг день вчерашний искать.
Три-ли-ли, тра-ля-ля...
Видит в сумраке леса узорном, густом
Кроет хижину негр изумрудным листом.
И промолвила птица, головку склоня:
«Не встречал ли ты, парень, Вчерашнего Дня?»

Удивлённое «Га?» прозвучало в ответ,
И улыбкой сверкнул чернокожий атлет,
И улыбку его всякий понял бы так:
«Ты, павлин, золотой, а ей-богу дурак!»

А павлин золотой в путь-дорогу опять:
Он на запад летит день вчерашний искать.
Три-ли-ли, тра-ля-ля...
Видит женщина в чёрном, от горя черна,
На сырую могилу упала она,
И глаза её сухи, и нет больше сил...
И павлин золотой ничего не спросил;
Он взглянул на неё и увидел, что в ней
День вчерашний навек, до скончания дней.

ОЙФН ВЭГШТЭЙТ А БОЙМ

Ойфн вэг штэйт а бойм,
Штэйт эр айнгебойгн,
Алэ фейгл фунэм бойм
Зэнэн зих цэфлойгн.

Драй кайн мизрах, драй кайн марив
Ун дэр рэшт кайн дорэм,
Ун дэм бойм гелозт алэйн
нэвкер фарн шторэм.

Зог их цу дэр мамэ: «нэр,
Золлст мир нор нышт штэрн,
Вэл их, мамэ, эйнс ун цвэй
Балд а фойгл вэрн.

Их вэл зицн ойфн бойм
Ун вэл им фарвиґн
Иберн винтэр мит а трэйст,
Мит а шэйнэм ныгн».

У ДОРОГИ — ДЕРЕВО

У дороги дерево,
Дереву грустится:
Нету птиц в листве его,
Разлетелись птицы.

Кто на север, кто на юг
Вольной пташке воля,
А ему дождей да вьюг
Дождаться в поле.

Говорю я маме: «Мам!
Обещай не злиться:
Я хочу сейчас же сам
В птичку превратиться!»

Я б на дерево взлетел,
Грусть его развеял,
Всю бы зиму сладко пел
Сон его лелеял...»

Ды калошн нэм дыр мит,
 С'гейт а шарфэр винтэр
 Ун ды кучмэ ту дыр он,
 Вэй из мир ун видл мир!

Вэйт ды мамэ: «Ицик кройн,
 Нэм, ум Готтэс вилн,
 Нэм хоч мит а шаликл,
 Золлст зих нышт фаркиглн.

Зот их: «Мамэ, с'из а шод
 Дайнэ шэйнэ ойгн».
 Ун эйлер вос, ун эйлер ван,
 Бин их мир а фойгл.

Зот ды мамэ: «Нытэ, кинд,
 Ун зи вэйт мит тэрн
 Кэнт халилэ ойфн бойм
 Мир фарфройрн вэрн».

Мама в слёзы: «Ой-ва-вой!
Как ты можешь, детка!
Ты простудишься зимой,
Сидя там на ветках!»

«Мама, глазки пожалей,
Могут пригодиться!»
Я шучу, а сам скорей:
Гоп! и вот я птица!

Плачет мама. «Ицик мой!
Мальчик мой хороший!
Ты хотя ж бы взял с собой
Шарфик и галоши,

Шапку, валенки надень,
Ну, не будь упрямый!
Всё не так, как у людей,
Причитает мама,

Ун дос винтэр-лэйбл нэм,
Ту эс он ду шойтэ,
Ойб ду вилст нышт зайн кейн гаст
Цвишн алэ тойтэ».

Х'хойб ды флигл. С'из мир швэр:
Цу фил, цу фил захн
һот ды мамэ онгетон
Дэм фейгелэ дэм швахн.

Кук их тройерык мир арайн
Ин дэр мамэс ойгн:
С'һот ир либшафт нышт гелозт
Вэрн мих а фойгл.

Шерстяных возьми носков
И фуфайку тоже...
Ох, чтоб он мне был здоров,
Господи мой Боже!»

Стал я крылья подымать
Крылья затрещали:
Слабой птичке не летать
С тёплыми вещами...

В глубину родимых глаз
Я смотрю мне больно:
Сердце мамино не даст
Стать мне пташкой вольной.

КАЛИКЕС

Ды биднэ каликес фун алэ йор-ярыдн,
Мит дрымбэс, гармоникэс, балалайкэс,
Мит гот ойф ды липн, легендэс, майсэс, байкес,
Монэн фун мир, аз их зол зэй лидн.

Зэй штрэмэн цу мир ин ганцэ хоптэс, шайкес,
Мит ятэрндыке вундн, мит трифндыке ойгн,
А кранкер гимн фун «нышт гештойгн, нышт гефлойгн»,
Мит дрымбэс, гармоникэс, балалайкэс.

О бридэр майнэ, ритэрс фун алэ зибн нойтн,
Нахтыкерс ин нэкдэшн, штарберс hintэр плойтн,
Визие фун майнэ фрийестэ киндэр-йорн,

Ир штромт, ир штромт цу мир ин ганцэ шайкес
Мит дрымбэс, гармоникэс, балалайкэс
Вос из майн соло антгегн айерэ хорн?

НИЩИЕ

Бродяги нищие с дорог больших и малых
Гармоники, бандуры, балалайки,
Бог на устах, легенды, майсы, байки...
Всё требуют с меня, чтоб воспевал их.

Теснят меня оборванные шайки,
Слезясь, гноясь, с тоской во взорах шалых,
С рассказами о муках небывалых,
Гармоники, бандуры, балалайки...

О братья, рыцари всех бед и злочлчений,
Виденья детских лет: с погостов тени,
Из богаделен и из-под заборов!

Не петь мне вас, оборванные шайки,
Гармоники, бандуры, балалайки
Что моё соло против ваших хоров!

ДЫ БАЛЛАДЭ ФУН ДЭМ АЛТН ГАЛАХ, ДЭР КРАНКЭР МАРИ УН ДЭМ ШВАРЦН ТЫЛЭМЛ

Дэр алтэр пойер клапт ин тыр.

Дэр винт гейт шарф.

«Фотэрл галах, эфн мир,

Майн тохтэр цанкт ойс ви а лихт,

Майн клэйнэ шэйнэ тохтэр дарф

Ды лэцтэ трэйст фун дыр».

А лихтл цытэрт ойф ин шойб,

А рэгэ ун фаргейт

А шотн фибэрт ойф дэр вант,

А скрып фун тыр, дэр галах гейт,

Дэр алтэр галах ин шварцн клэйд,

Дос тылэмл ин дэр хант.

«Шэйнэ Мари, дайн поным из блэйх,

Дых шрэкт дос тунклэ ланд,

Ды рэгэ тунклкайт, вос фаргейт,

Ун дэрнох из дох фрэйд, из самэ фрэйд»,

Мурмэлт дэр галах штылэрһэйт,

Дос тылэмл ин дэр хант.

БАЛЛАДА О СТАРОМ СВЯЩЕННИКЕ, БОЛЬНОЙ МАРИ И ЧЁРНОМ ПСАЛТЫРЕ

Крестьянин плачет, в дверь стуча.

Черна, ненастна ночь.

«Ах, отче, тает как свеча

Моя бедняжка дочь!

Иди скорее в смертный час

Утешить и помочь».

Дрожит в стекле лампы свет,

Тенями полон дом.

И дверь скрипит спешит вослед

Священник за отцом,

В сутану чёрную одет

И с чёрным псалтырём.

«Мари, голубка, ты бледна,

Страшит тебя конец?

Не бойся! Краток смертный миг...»

«Нет! Нет, святой отец!»

«А после радость, вечный свет

И благостный венец...»

«Отец, от ветров голубых
Уйти я не могу,
Мне шепчут «нет» и трижды «нет»
Травинки на лугу,
И небо горько слёзы льёт
Сквозь радуги дугу.

«Не плачь, дитя моё, смирись.
Мужайся и иди.
Нет смерти: лишь мгновенный мрак
И счастье впереди», –
Священник шепчет горячо,
Псалтырь прижав к груди.

«Ах, отче! Вишен белый цвет
Уйти мне не даёт.
Ты слышишь: “Нет и трижды нет!”
Мне ласточка поёт,
И горько дудка пастуха
В долине слёзы льёт»...

Мурмэлт дэр галах: «Вос из дэр мэнч?
А штрой, а кинд, а винт.
Ды нэшомэ бэнкт ун руфт цу гот...»
Фибэрт ды кранке швэр ун хэйс:
«Ды нэшомэ бэнкт цу зинд...»

Дэр галах из блэйх, ин фенстэр кукт
Дэр тойт а шварцэр хунт.
Дэр галах тульет дос тылэмл цу
Цу ирэ липн: А куш! А куш!
Ун ойфн шварцн тылэмл брэнт
А вунд, а ройтэ вунд...

Ун глыкер клинген дурх дэр нахт:
Глын-гланг, глын-гланг, глын-гланг.
Дэр галах отэмт тыф ун швэр,
Ойф зайнэ вийес цытэрт а трэр,
Эр филт ви кейнмол биз аһэр,
Аз с'тут бээмэс банг...

«О дочь моя! Что человек?
Солома, пыль, труха!
И к Богу просится душа,
Смиренна и тиха».
«Нет, шепчет девушка, душе
Так хочется греха...

Как сука чёрная в ночи,
Смерть взвыла на дворе!
Псалтырь к запёкшимся губам:
«Целуй! Целуй скорей!»
И рана красная горит
На чёрном псалтыре...

Как грустен колокол ночной:
Динь-дон, динь-дон, динь-дон...
Священник дышит тяжело
Под колокольный стон,
И слёзы капаят с ресниц.
Впервые плачет он...

ЭЙНЗАМ

Кейнэр вэйст нышт, вос их зог,
Кейнэр вэйст нышт, вос их вил
Зибн майзлах мит а мойз
Шлофн ойфн дыл.

Зибн майзлах мит а мойз
Зэнэн, духт зих, ахт
Ту их он дэм капэлюш
Ун зог: «А гутэ нахт».

Ту их он дэм капэлюш
Ун их лоз зих гейн.
Ву же гейт мэн шпэт байнахт
Эйнинкер алэйн?

Штэйт а шэнк ин митн марк,
Винкт цу мир: «Ду йолд!
Х'һоб а фэсэлэ мит вайн,
А фэсэлэ мит голд».

ОДИНОКИЙ

Что ищу, чего хочу
Всем на то плевать.
Мышь и шестеро мышат
В норку лезут спать.

Мышь и шестеро мышат
Это будет семь.
Надеваю шапокляк:
«Доброй ночи всем!»

Надеваю шапокляк,
Удаляюсь прочь.
Ах, куда же он, один,
В эту ночь?

На базарном пустыре
Светится шинок:
«Есть хорошее винцо
Заходи, сынок!»

Эфн шнэл их ойф ды тыр
Ун их фалл арайн:
«А гут йом-тов алэ айх,
Вэр ир золт нышт зайн!»

Кейнэр вэйст нышт, вос их зог,
Кейнэр вэйст нышт, вос их вил
Цвей шикойрым мит а флаш
Шлофн ойфн дыл.

Цвей шикойрым мит а флаш
Зэнэн, духт зих, драй.
Зайн а фэртэр до ин шпил?
Лойнт зих? нышт кедай.

Ту их он дэм капэлюш
Ун их лоз зих гейн.
Ву же гейт мэн шпэт байнахт
Эйнинкер алэйн?

Торопливо шарю дверь,
Обогреться рад.
«Добрый вечер вам!» – кричу,
Вваливаясь в чад.

Что кричу, чего хочу
Всем на то плевать.
Двое пьяных, взяв бутыль,
В угол лезут спать.

Двое пьяных и бутыль
Это три, считай.
Стать четвёртым? Стоит ли?..
Говорю: «Гуд бай!» –

И, надев свой шапокляк,
Удаляюсь прочь.
Ах, куда же он, один,
В эту ночь?

ИХ — А НУНТ ОЙФ ДЭР КЕЙТ

Овнт. Чередэс волкнс.
Их — а нунт ойф дэр кейт —
навке аройс фун ды волкнс
Дэм рэгн. Дэр рэгн гейт.

Тропнс троппэн. Зэй килн
Майн хинтыш-цэшойбертэ фэлл.
Троп, троп, троп — ды тропнс
Кайклэн зих шнэлл, шнэлл, шнэлл.

Нышто мэр ды злыднэ флыгн,
Ды койтыке киндэр фун мист,
Их шпиц ойф бейдэ ойерн
Шарфэр, шарфэр: мэн шист!

С'кайклэн зих швэрэ дуннэрс
Цвишн волкнс ун тракт,
Дорт гейен мистамэ прыцым
Мит зэйерэ хинт ойф ягд.

Их зэ, ви с'флийен ды нозн —
Вайсэ пинтэлэх шрэк —
Ун бэрн шлэпн ды пахад
Ин финцтэр валд авэк.

Я СОБАКА НА ЦЕПИ

Душный вечер. Тяжёлые тучи.
От слепней не спасёшься нигде.
Я ворочаю цепью гремучей,
Я скулю: я молюсь о дожде.

Есть! Закапало! Чаше и чаще
По песку: кап-кап-кап, кап-кап-кап!
По спине моей пыльной, свербящей —
Холодок — от загровка до лап.

И конец им, назойливым мухам,
Грязным выродкам мусорных куч...
Только — чу! настороженным ухом
Дальний грохот ловлю среди туч.

Там стреляют! Никак не иначе!
Трах! — И сполохи с разных сторон:
Там охота господская скачет
И борзые несутся в угон!

Прыщут зайцы комочками страха,
Удирают лиса и барсук,
И медведь, толстозадый неряха,
В тёмный бор волочёт свой испуг.

А нирш мит цэшрокенэ ойгн
Флаттэрт фарбай а винт!
Эр фаллт. Фун зайнэ вундн
Тропнт дос блут ун рынт.

Их нюхэ. С'шмэкт мит нэвэйлэ.
нав-нав! Их билл фар фрэйд.
нав-нав! А шпрунг ин дэр луфтн,
Нор ды фаршолтэнэ кейт

Шнайdt мир тыф ин халдз айн
Ун лозт нышт вайтэр кейн трытт.
Их байс ды кейт мит ды цэйнэр
Ун филл ви с'вэйтыкт дэр шныт.

Сэ кайклэн зих швэрэ дуннэрс,
Сэ блицт – а лихтыкэ шланг.
Их крих арайн ин ды будэ
Ун войе тыф ун ланг...

Вот олень с перепуганным глазом
Прянул в воздух летит ураган!
Трах! он падает грохнулся наземь,
Кровь дымит, вытекая из ран.

Ах, как сладок убоины запах!
Я рычу, я волнуюсь, я рад!
Рвусь вперёд оседаю на лапах:
Цепь проклятая тащит назад,

Не пускает, врезается в шею,
Я клыками её! Я кружу.
Кровь по дёснам, загривок немеет.
Я стихаю и мелко дрожу...

Трах! гремит надо мной многократно,
Режет сумрак слепящая нить...
В конуру заползаю обратно
И, наверно, всю ночь буду выть.

ДЫ БАЛЛАДЭ ФУН ДЭМ НОЛЦНЭКЕР

А мол из гэвен а нолцнэкер,
Гэвен из эр гро ун алт;
Из эр геганген фун камо йорн
накн нолц ин валд
Вос из эр гэвен, а пориц?

Ин а фростыкн винтэр овнт
Гейт эр видэр ин валд арайн;
Эр хот дэн ан андэрэ брэйрэ,
Либер херр Гот Ду майн,
Аз ды нойт хот шарфэ нэгл?

Зэт эр а соснэ а юнгэ,
Вос цитэрт ин шарфэ винт;
нэрт эр ин ир цитэр
Дос хлипэн фун а кинд
Ун эр зэт ирэ тройерикэ ойгн.

«Дайн нак из шарф, ун майн лэбн,
Майн лэбн из юнг ун дын;
нак нышт ибер дэм фодым,
Дэм голдэнэм, вос их шпин
Вэст нобн ан авэйрэ».

БАЛЛАДА ПРО ДРОВОСЕКА

Жил-был дровосек на свете,
Он был уже стар и сед.
Рубил он в лесу деревья
Без продыху много лет
А что ж, он большой пан, по-вашему?

Однажды зимой морозной
Идёт он лесной тропой
А что же ему остаётся,
Господи Боже ты мой,
Если у нужды такие острые когти!?

И видит: сосна молодая
Трепещет на лютном ветру,
И жалобный плач ребёнка
Он слышит в том трепете вдруг
И будто видит её умоляющие глаза:

«Остёр твой топор и тяжек,
А жизнь моя так нежна!
Не рви мою нить золотую,
Неслышно кричит сосна,
Не руби меня грех тебе будет!»

Зэт эр а дэмб ан алтн,
Блайбт эр фар им штэйн;
хойбт эр ды нак, дэрфилт эр,
Аз эр хойбт зи кегн зих алэйн
Анткегн зайн эйгенэр элтэр.

Блайбт эр а тройерикер штэйн
Мит аропгелозтэ хэнт;
Эр зэт ды клэйнэ файерлэх,
Вос hobн ды гройсэ дэмбэс фарбрэнт
Ун зайн гуф нэмт дурх а шойдэр.

Фар им штэйн ойф ды шотнс
Фун ды боймер, вос эр хот цэштэрт
Ин мэшех фун зайн лэбн;
Фалт эр авэк ойф дэр эрд,
Ви а бойм ан опгеһактэр.

Ун эр бэт ба зэй мэхилэ
Мит а биттер гевэйн.
Лозн мир им дорт лыгн,
Вифл эр вил алэйн
Аз мэн вэйнт зих ойс, вэрт грингэр.

Он стал перед старым дубом,
Топор поднимая свой,
И понял он вдруг, что заносит
Топор над самим собой,
Над своей собственной старостью.

И руки его повисли,
И блуждал его скорбный взгляд:
От маленькой злобной искры
Дубы-великаны горят...
И его прямо-таки ужас охватил!

И встали в глазах его тени
Погибших стволов и крон,
От рук его смерть принявших,
И рухнул на землю он,
Как будто он сам — подрубленное дерево,

И плакал, прося прощенья,
Взывая к немym лесам...
Уйдём, пусть лежит и плачет,
Сколько захочет сам:
Выплачется человек — ему и полегчает.

АнАСВЭР

Вер шарт зих дурх дер нахт ацинд,
Ун кэн ныт зайн һэйм гефинэн?
Вер гейт инэйнэм митн винт
Ун шлэпт зайн шотн нох ви а һунт,
Вэн кайн штэрн из ныт онгецундн?

Их бин эс, фотэр гетрайер, их,
Вос кум цурик фун дэр фрэмд.
Цэрисэнэ вундн зэнэн майн ших,
Ун цэрисн һэнгт ойф майн накэт лайб,
Ви шварцэр тройер, майн һэмд.

Их бин авэк фун ды штилэ штуб
Мит фрейд ин майнэ һор.
Дэм квал гелэстэрт ун ойсгелахт
Ицт трайбт мих цурик ди митн-нахт.
Фаргиб мих, фотэр, фаргиб.

«Ци кэн дэн ойф майн лихтыкер швэл
Руэн дайн мидэр коп?
Ци нэмт дэн цурик дэр бойм ди цвайг,
вос фалт фун им ароп?
Гей вайтэр, вандэрэр, ун швайг!»

АГАСФЕР

Это кто там плетётся в полуночной тьме,
Как собака, поджавшая хвост?
Кто там гнётся от ветра, слоняясь кругом,
И не может найти свой покинутый дом
В эту ночь без луны и без звёзд?

Это я, дорогой мой Отец, это я
Из чужих возвращаюсь краёв:
Сбиты ноги, и обувь разодрана в прах,
И как чёрное горе, висит на плечах
Обветшалое платье моё.

Я презрел, осмеял и покинул Твой дом,
Чтобы вольный простор обрести.
Злая ночь меня гонит обратно, мой Бог,
Допусти же скитальца на светлый порог
И прости меня, Боже, прости!

А найдёшь ли покой для усталой души
Ты, к порогу склоняясь Моему?
Если с дерева лист оборвался давно,
Разве может принять его снова оно?
Возвращайся, бродяга, во тьму.

«Ди митн-нахт трайбт мих аһер,
Ур ду трайбст мих цурик.
Из цвишн дэр нахт ун дыр, майн Гот,
Цэрисн ойф эйбик ди брик?»
Вер хот геруфн, Аһасвэр?

Аһасвэр, дэр вэг из дайн крейц,
Ун ди шварцэ нахт из дайн шойс.
Ибер дых циндн зих штерн он
Ун лэшн зих видэр ойс,
Нор эйбик блайбт дайн цаар».

Данаидн, швестэр майнэ, һэрт!
Ду руфст унз, Аһасвэр?
Дэр фотэр хот нохамол гештрофт,
Дэр блоэр ям блайбт айер крейц,
Ун майнэр ды блиндэ эрд.

Тяжко, Господи! Ночь меня гонит к Тебе,
Ты же гонишь скитаться в ночи!
Разве может быть так, что уже порвалась
Между ней и Тобой вековечная связь?
Уходи, Агасфер, и молчи.

Вековые скитания тяжкий твой крест,
Тьма ночная – твой кров и ночлег.
Будут гаснуть светила и вновь возникать,
Опустеет земля, населится опять
Крестный путь твой пребудет вовек.

Данаиды! Вы слышите, сёстры мои?
Агасфер? Ну, когда уже смерть?
Не прощает Отец... Видно, жребий таков:
Вам – бездонное море на веки веков,
Мне – земная бескрайняя твердь.

ТРОЙЕРЫК ЛИД

Их вэл а левонэ дыр койфн,
А левонэ фун зилберпапир,
Ун вэл зи банахт ойфһэнген
Ибер дайн клейнэр тыр.

Ун фар дэр тыр вэл их штэлн
Драй солдатн фун блай.
Ун ибер зэй алэ дэм элтстн,
Фун япанишн порцэлай.

«Солдатн, либэ солдатн,
Лозт мих ин штибл арайн!
Х’һоб гебрахт дэр клейнэр бас-малкэ
А зилберн кригл вайн».

«Мир кенэн ун торн ныт лозн,
Мэн һот унз штрэнг фарвэрт»,
Азой зогт цу мир дэр элтстэр
Ун вайзт ды бланке швэрд.

Зог их цу ды солдатн,
Вос штейен ойф дэр вахт:
«Х’һоб фар дэр клейнэр бас-малкэ
А голдэнэм штэрн гебрахт!

ГРУСТНАЯ ПЕСЕНКА

Луну из фольги серебристой
Тебе я в подарок куплю
И ночью тихонько повешу
Над дверью в светёлку твою,

И трёх оловянных гвардейцев
Поставлю при ней на часах,
А главным над ними назначу
Капрала в геройских усах.

«Спросите, солдаты, царевну,
Не примет ли гостя она,
Принёс я кувшин драгоценный,
Волшебного полный вина».

«Не велено, нету приказа,
Ступай стороною, сынок», —
Нахмурясь старшой отвечает
И тянет из ножен клинок.

«Пустите, ребята, прошу я
Солдат, что стоят на посту,
Принёс я для юной царевны
С небес золотую звезду!

Ан эмесн голдэнэм штэрн
Гebraхт фун дэр вайт, фун дэр фрэмд.
Вил их дэм штэрн цушпилен
Цу ир зайдэнэм нэмд».

Лахн ды драй солдатн,
Вос штейен ойф дэр вахт:
Цитэрт байм элтстн а вонцэ
Элэнэй эр волт гелахт.

Р'лэгт цу дэм фингер цум штэрн
Ун кукт эпес моднэ цу мир:
Эпес, ну, эпес ин калье
Ин эйбер-штибл бай дыр...

Блайб их а тройерикер штэйен
Мит штылэ фарброхенэ нэнт
Ун эйдэр х'ноб цайт цу вэйнэн,
Из шойн дос лид цу энд.

Я жаркую звёздочку эту
Из дальних загадочных стран
Хочу приколоть на атласный,
На синий её сарафан».

Но прячут глаза часовые,
Военную строгость храня;
Качает капрал головую
И странно глядит на меня:

Глядит, ухмыляясь лукаво
И в лоб себе пальцем долбя:
«Чего-то неладно, приятель,
Видать, в котелке у тебя».

А я, одинокий и грустный,
Готовый заплакать стою...
И, кажется, самое время
Заканчивать песню мою.

КАИН УН ЭВЭЛ

«Эвэл, майн брудэр, ду шлофст
Ун ду бизт азой вундэрлэх шэйн,
Азой шэйн ви ду бизт ацинд
һоб их дыр нох нышт гезэн...

Лыгт ды шэйнкайт ин майн һак,
Ци эфшэр гор ин дыр?
Эйдэр дэр тог фаргейт,
Зог, антфэр мир! —

Эвэл, брудэр, ду швайгст,
Ви дэр һимл ун ды эрд.
Азой швайгн тыф ун фарклэрт
һоб их дыр нох нышт гехэрт.

Лыгт дос швайгн ин майн һак,
Ци эфшэр гор ин дыр?
Эйдэр дэр тог фаргейт,
Зог, антфэр мир! —

От штэй их нэбн дыр,
Ун ду бизт азой алэйн,
Азой фрэмд ун опгешайдт
һоб их дыр нох нышт гезэн...

КАИН И АВЕЛЬ

«Авель, брат, просыпайся – пора!
Что-то нынче красивый ты...
Может, это удар топора
В нём причина такой красоты?

Где ж была она раньше – в самом топоре?
Или где-то в тебе жила?
Ну, скажи мне, скажи скорей
Покуда ночь не пришла!

Ты так странно молчишь, мой брат:
Как земля и небо молчат.
Никогда до сих пор, видит Бог,
Не был ты так серьёзен и строг.

Эта строгость сидела в моём топоре
Иль скрывалась в тебе она?
Ну скажи мне, скажи скорей
Пока не взошла луна!

Ты лежишь, будто нету меня!
Смотришь мимо, и сам недвижим.
Ты же не был до этого дня
Вот таким: равнодушным, чужим...

Зор, антээр мир!
 Эндэр лэр тор фаргейт,
 Ци эфшэр тор ин дыр?
 Лыт ды тройер ин майн хак,
 Ун шмакт азой тройерык ун гут.
 Вос шлангт зих ойф дэр эрд
 Дос роитэ шнырд блут,
 Кум, фотэр Олам, ун ээ

Зор, антээр мир» —
 Эндэр лэр тор фаргейт,
 Ци эфшэр тор ин дыр?
 Лыт ды штылкайт ин майн хак,
 Ношту им нох нышт фарвигт.
 Азой ша ун штыл ун фартрахт
 Ви майн брудэр Эвал лыт,
 Кум, мутэр Хавэ, ун ээ,

Зор, антээр мир!
 Эндэр лэр тор фаргейт,
 Ци эфшэр тор ин дыр?
 Лыт ды фрамлкайт ин майн хак,

Это всё помещалось в моём топоре
Или был ты чужой всегда?
Ну, скажи мне, скажи скорей
Пока не зажглась звезда!

Ева, мать! Подойди погляди,
Как он тих и спокоен стал
Никогда на твоей груди
Он так сладко не засыпал:

Эта кротость лежала в моём топоре
Или в сердце носил её брат?
Ну, скажи мне, скажи скорей
Пока не погас закат.

Посмотри-ка, отец мой Адам:
Змейка крови ползёт по камням;
Вкусный запах, и он мне знаком,
Только... грусть какая-то в нём...

Эта грусть была прежде в моём топоре
Или кровь – печальна сама?
Ну скажи мне, скажи скорей
Пока не настала тьма».

РУТ

Этот цикл из восьми стихотворений Ицик Мангер создал по мотивам библейского сказания, которое описывает житейскую историю эпохи Судей Израильских (1200—1025 гг. до н. э.). Изложено это сказание в «Книге Рут» (по-русски Руфь), одной из самых коротких книг ТАНАХа, включённой впоследствии и в христианскую Библию («Ветхий Завет»). Вот о чём повествует эта книга:

«В те дни, когда управляли судьи, случился голод в стране. И пошёл один человек из Вифлеема Иудейского, со своею женою и двумя сыновьями своими, жить на полях Моавитских. Имя человека того Элимелэх, имя жены его Нозми, а двух сыновей его Махлон и Хилеон... (...) И пришли они на поля Моавитские и остались там...

...И умер Элимелэх, муж Нозми, и осталась она с двумя сыновьями своими. Они взяли себе жён из Моавитянок; имя одной Орфа, а имя другой Руфь; и жили там около десяти лет. Но потом (...) Махлон и Хилеон умерли; и осталась та женщина после обоих сыновей и после мужа своего...

...И встала она со снохами своими, и пошла обратно с полей Моавитских, ибо услышала на полях Моавитских, что Бог посетил народ Свой и дал им хлеб.

РУФЬ

...И вышла она из того места, в котором жила, и обе снохи её с нею. Когда они шли по дороге, возвращаясь в землю Иудейскую, Ноеми сказала двум снохам своим: пойдите, возвратитесь каждая в дом матери своей. Да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими и со мною...

...И Орфа простилась со свекровью своею, а Руфь осталась с нею. Ноеми сказала: вот, невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим богам; вернись и ты вслед за невесткою своею.

Но Руфь сказала: не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя; но куда ты пойдёшь, туда и я пойду, и где ты будешь жить, там и я буду жить; народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом; (...) смерть одна разлучит меня с тобою».

(Рут, гл. 1, ст. 1 17)

В Иудее моавитянка Руфь вскоре вышла замуж за родственника своего покойного мужа и родила сына Овида; «Овид родил Иессея; Иессей родил Давида», который и стал царём Израиля и любимым героем его истории.

НОЭМИ ЗОГТ «ГОТ ФУН АВРУМ»

Ды алтэ Ноэми ин митн штуб
Шепчет «Гот фун Аврум»,
Ды блондэ шнурн нэбн ир
хэрт форхтык ун фрум.

«Гот фун Авраом, гройсэр Гот,
Дэр хэйликэр шабэс фаргейт,
Ун ви дэр шабэс ин фрэмдн дорф,
Азой из авэк майн фрэйд».

Зи гейт памелэх цум фэнстэр цу:
Ин дройсн тунклт ды милл.
Зи отэмт мит ды флигл койм,
Дэр овнтвинт из килл.

Ды милл хот Элимелэх гекойфт,
Унд ды милл хот гемолн бройт,
Ицт из дэр ман ойф дэр эмесэр велт
Ун бейдэ зын зэнэн тойт.

НОЭМИ ЧИТАЕТ «БОГ АВРААМА»

Старуха Ноэми в хате своей
Шепчет «Гот фун Авром»*,
И русые жёны её сыновей
Тихонько сидят за столом.

«Бог Авраама, великий Бог,
Святая Суббота прошла...
Такой, как суббота в чужом селе,
Вся жизнь моя здесь была...»

Печально в доме у них. За окном
Сгущается синий мрак.
Там крыльями еле слышно скрипит
Заброшенный старый ветряк.

На нём Элимелэх молот зерно,
Гордился трудом своим,
Но муж в лучший мир отошёл давно
И оба сына за ним.

* Молитва, которую произносят на исходе субботы.

Ицт из зи а вистэ алмонэ ин дорф,
Мит бейдэ шнурн алэйн
Орjэ из гут ви разэвэ бройт,
Ун Рут из фрум ун шэйн.

Нозми дэрмонт зих: а мол, а мол,
Зи хот ды шикслэх нышт геволт,
Нор с'из мистамэ гевэн башерт
Ицт хот зи бейдэ холд.

Зэй hobн ды зын ирэ либ гeнат,
Гeарбэт мит зэй ин фэлд,
Ун швэр ун швигер «дос ойг ин коп»,
Ун ковэд фун дэр вэлт.

Теперь только две невестушки с ней
Вдовицы как и она:
И Орфа – свежа, как ржаной каравай,
И Руфь – как голубка, нежна.

Ноеми их, «шикс», не желала знать,
Но это прошло давно...
Сейчас она любит обоих как мать,
Уж так, видать, суждено.

И обе невестки, храни их Господь,
Свекровь свою любят и чтут.
И это, конечно, все видят в селе,
И все уважают их тут.

Ицт зэй нэбэх алмонэс цвэй,
Ун зи ан алмонэ алэйн.
Фар зэй хот ды эрд мистамэ фрэйд,
Нор зи, ан элнтэр штэйн.

Вэт зих шлэпн ун шлэпн цу фус,
ис зи вэт кумэн кайн Кнаан,
Ун дортн вэт дэр малах һамавэс
Вэрн ир цвэйтэр ман.

Ноэми шепчет, ун нэбн ир
һорхн ды шнурн фрум
Ин дройсн шмэкт мит һэй ун винт,
Ин штуб мит «Гот фун Аврум»...

Бедняжки, они ещё дети почти,
А горя вкусили сполна...
Дай Боже им новое счастье найти.
А ей – ей дорога одна:

Одной возвращаться в родной Ханаан,
Брести дни и ночи пешком.
А там только Ангел смерти и ждёт,
Чтоб стать ей вторым женихом...

Ноэми шепчет, невестки молчат,
Густеет мрак за окном.
Там ветер и жарких лугов аромат,
А в доме – «Гот фун Авром».

НОЭМИ РЭДТ ЦУ ИРЭ ШНУРН

Орпэ гист он фунэн самовар
Драй глэээр мит хэйсн тэй,
Дос эрштэ глос дэр швигер-лэб,
Ир коп из вайс ви шнэй.

Ин дройсн ды шпэтэ зуммернахт,
А шиксэ ин штэрнһэмд,
Кишуфт ун зингт ун руфт цурик
Ды либэ фун дэр фрэмд.

Ун вос зи зингт, хазэрт ибэр дэр тайх,
Хазэрт ибэр дэр винт ин фэлд,
Хазэрт ибэр дэр вэг, хазэрт ибэр дэр валд,
Хазэрт ибэр ды ганцэ вэлт.

Нор цу ды драй алмонэс ин штуб
Дэргейт нышт дос зисэ лид.
Рут из тройерык, Орпэ фартрахт,
Ун Ноэми из алт ун мид.

НОЭМИ ГОВОРIT С НЕВЕСТКАМИ

Уютен лампы ровный свет,
Снят с фитиля нагар.
На белой скатерти ворчит
Пузатый самовар,

И разливая в чашки чай,
Пахучий и густой,
Подносит Орфа первой ей –
Свекрови дорогой,

Чья голова как снег бела
И клонится к столу...
А за окном молодка-ночь
Гуляет по селу,

И чёрный в звёздах сарафан
Из бархата на ней:
Она чарует и пьянит,
И с нею всё слышной

hэйбт Ноэми ойф дэм коп ун зогт:
«hэрт, тэхтэр майнэ, hэрт,
Вос из ан алт цэброхн мэнч,
Умштэйнс гезогт, ды верт.

Из вил их моргн ганц каёр
Гейн ин майн ланд цурик,
Зол дортн хоч майн кэйвер зайн,
Бу с'из гевэн майн виг.

Ун ир, ир кэрт зих ум ahэйм,
А йедэ мит ир вэг,
Ун зол майн брохэ зайн мит айх
Бизн соф фун айэрэ тэг».

Ноэми швайгт. Ды нафтломп брэнт
Ун сэ жумэт дэр самовар.
Ун ибэр ды драй алмонэ-кэп
Цитэрт ды кройн фун цаар...

Поют река, дорога, лес.
Лишь в домике трёх вдов
Не вторят песне той – их вид
Печален и суров.

И говорит Ноэми так:
– Решила, дочки, я
Хоть умереть в своём краю,
Где колыбель моя...

Вернёмся каждая в свой дом:
Судьба сильнее нас...
Благословение моё
Примите в добрый час.

Ворчит тихонько самовар,
Не слышно больше слов,
И реет тихая печаль
Над головами вдов.

НОЭМИ КЭН НЫШТ ШЛОФН

Ды алтэ Ноэми лыгт ин бэт
Ун кэн нышт антшлофн вэрн,
Ин фенстэр цитерн гут ун голд
Драй гройсэ фрумэ штэрн.

Ды эйгене штэрн вос ин дэр һэйм,
Фар вос же зэнэн зэй фрэмд?
Ун Ноэми филт ви дос алтэ харц
Клэмт ун клэмт ун клэмт.

Унтэр ды фрэмдэ штэрн һи
Лозт зи кворым цурик,
Ибер ды кворым вейнт ун клогт
Ир эйгн хорув глик.

Морген каёр митн эйберштнс һилф,
Гейт зи ойф томид авэк.
Таке? Бэ эмес? Ун мит а мол
Бафалт зи а моднэр шрэк.

НОЭМИ НЕ СПИТСЯ

Никак Ноэми не заснуть:
На сердце груз беды. ·
Тяжёлым золотом горят
В окошке три звезды.

Они и там, где отчий дом,
Горели в высоте,
Но здесь они, в краю чужом,
Как будто бы не те.

Под ними муж и сыновья
В могилах спят сырых
И жизнь разбитая её
Рыдает здесь, при них,

И здесь останется навек,
Когда она с зарёй
Уйдёт отсюда в дальний путь,
В Бэйт-Лэхэм свой родной...

Ды кворым монэн ун руфн зи:
«Ноэми... мамэ... Нэйн!
Блайб до мит унз, блайб нэбн унз,
Ду торст, ду вэст нышт гейн.

Нышт дортн, ву с'штэйт дайн виг,
Нышт дортн из дайн хэйм,
Нор до, ву ду ност унз фаршарт
Мит файхтэр эрд ун лэйм.»

Ноэми фиберт: «Герэхтэр Гот,
Антплэк фар мир дэм вег,
Ци зол их гейн, ци блайбн до
Бизн соф фун майнэ тэг?»

Ун Ноэми хэрт ви с'ройшт дэр винт
Ин ноэнт эплсод,
Ун мит а мол ун он а кол
Антплэкт зих Готс генод:

А три могилы за окном
С мольбой её зовут:
«Ноэми! Мать! Не уходи,
Не покидай нас тут!

Твой дом не там, где колыбель,
А там, где в горький час
Сырою тяжкою землёй
Засыпала ты нас».

Тоска Ноэми сжала грудь:
«О Боже правый мой!
Что ж делать мне? Остаться здесь
Или идти домой?»

И замер яблоневый сад,
И ветра больше нет,
И вдруг без голоса и слов
Ей слышится ответ:

«Ды тойтэ зэнэн шотнс блойз
Вос туэн рак нор вэй,
Ун Гот из лихт, из эйбик лихт,
Штэй ойф фартог ун гей!

«Нышт бай ды кворым вахт дайн Гот,
Нор дортн бай дайн виг,
Штэй ойф, майн кинд, вэн с'тогт дэр тог,
Ун гей аһэйм цурик!»

Нозми шмэйхлт. Ин дройсн ройшт
Дэр винт ин эплсод.
Зи вэрт антшлофн ун ибер ир
Цитэрт Готс генод.

«Послушай! Мёртвые лишь тень,
От них лишь боль в груди.
А Бог – он свет, он – вечный свет.
Встань утром и иди!

«Не у могил твой Бог, а там,
Где колыбель твоя.
Вставай пораньше и иди
Вернись в свои края».

И снова яблони шумят.
Как сладко засыпать...
И реет пологом над ней
Господня благодать.

ОРПЭ КЭН НЫШТ ШЛОФН

Орпэ зицт ин ир хейдэр бай нахт
Ун лэйент нох а мол дэм брив.
Дэр татэ, дэр алтэр пойер, шрайбт,
Зи лэйэнт ун отэмт тыф.

«Арпося, тэхтэрл, кум аһейм,
Ды мамэ из алт ун кранк.
Краса ды ку хот зих гекалбт,
Ун алц из гот-зай-данк.

«Сташэк дэр милнэр хот зайн вайб
Мит дэр һак бай нахт гетойт,
Ицт зыцт эр ин «козэ». Гелойбт цу гот,
Мир шлэпн дос штыкл бройт...

«Анюся дэм ковальс из фун штот
Гекумэн аһейм мит а бойх,
Ды мамэ вэйнт ун дэр коваль трынкт
Ун шлогт аз с'гейт а ройх.

«Бай Ицка дэм жьд, дэм шэнкер фун дорф,
хот мэн алэ шойбн геклапт,
Ун Ицка алэйн мит зайн һойзгезынд
һобн важнэ арайнгехапт.

И ОРФЕ НЕ СПИТСЯ

И Орфа в своей комнатухе не спит:
Читает письмо от отца,
Вздыхает порою, в окошко глядит
И слёзы стирает с лица:

«Орфуся, дочка, вернись домой:
Мать стара, да и я занемог..
Красуля у нас отелилась зимой
Проживём как-нибудь, даст Бог.

А Сташек-то мельник ночью, хмельной,
Топором свою бабу засёк..
Сидит теперь в тёмной... Ну а у нас
Слава Богу, есть хлеба кусок...

Анюся кузнецова, что в город ушла,
Нагуляла себе там живот.
Матка плачет, а батька-кузнец всё пьёт:
Лупит девку, аж дым идёт...

У Ицки-жида, что в слободке шинкарь,
Перебили все стёкла в дому,
Ну, понятно, при этом досталось жидам:
И семье, и ему самому.

«Ё, Антэк дэр шрайбэр фон герыхт
һот мих аһумэлт опгештэлт:
Гэһерт аз Арпосяс ман из тойт
Ун зи һот фаршпилт ир вэлт.

«То зол зи кумэн цурык аһэйм,
Шрайб ир, аз их бин грэйт,
Хоч зи һот гелэбт мит а жьд,
Зи цу нэмен ви зи штэйт».

Орпэ лэйгт авэк дэм брив.
Антэк руфт зи цурык,
Эфшэр таке, эфшэр бай им
Из ир башэрт ир глик?

Зи гейт памэлэх цум фенстэр цу,
Ир һарц из моднэ швэр,
Дэр бэйс-ойлом шлофт ин левонэ-шайн,
Ун зи вэйнт а лэцтэ трэр...

Да! Поймал меня Антэк – писарь с суда,
Поздоровкался и говорит:
“Я слышал, мол, помер Орфусин-то муж,
И всё у ней гаром горит.

Напиши ей, пускай она едет домой:
Я согласный, он мне говорит,
Несмотря, что она была за жидом,
Взять её хоть сейчас, в чём стоит!”»

Орфа откладывает письмо,
Задумчиво смотрит в окно...
Антэк зовёт её. Может, с ним
Счастье ей суждено.

Там, за окном, в лунном свете спит
Муж на погосте внизу.
Знает ли Орфа, что нынче ему
Последнюю дарит слезу?..

РУТ КЭН НИШТ АНГШЛОФН ВЭРН

Рут штэйт фарн шпигл шланк
Ун цэкемт ирэ блондэ хор.
Ды рэйд вос ды швигер хот герэдт
Зэнэн биз цум вэйтык клор.

Моргн, дос хэйст ин этлэхе шо
Вэт ды алтэ швигер алэйн
Гейн цу ир фолк ун цу ир гот,
Ун зи, ву вэт зи гейн?

Аһэйм ин дорф, ву дэр татэ тринкт
Ун ды бэйзэ штыфмамэ шелт,
Ды гелэ Маруся, зи хот ир генуг
Фарумэрт, фарфинцтэрт ды вэлт.

Аһэйм ин дорф, ву дэр пориц шлогт
Ды кнэхт мит ан айзэрнэр рут,
Зи гедэнкт ви һайнт дэм брудэрс гуф
Фаргосн мит швэйс ун блут.

Аһэйм ин дорф, ву дэр дулэр Василь
Дэрцэйлт фар йедн ин марк,
Ви азой Пан Езус хот им гебэнчт
Ойфн шпиц фунэм клойстэрбарг.

И РУФЬ НИКАК НЕ ЗАСНЁТ

Печальная Руфь заплетает косу
И думает вновь и вновь
О том, что сказала за чайным столом
Её дорогая свекровь.

«Свекровь на рассвете пешком уйдёт
Туда, где в далёкой стране
Живёт её Бог и её народ.
А я? А куда же мне?

Домой в деревню, где мой отец
С утра до вечера пьёт
И рыжая мачеха пилит меня
И травит, и жить не даёт?

Домой в деревню, где Васька-дурак
Горланит на весь базар
О том, как Пан Езус в костёле вручил
Ему пророчества дар?..

Домой в деревню, где лупит пан
Прислугу железным прутом?
Забуть, как мой брат в крови и поту
Валялся в хлеву со скотом?»

Зи цитэрт. Ин дройсн ройшт дэр тайх:
«Кум, Ружка, гелибтэ, кум!
Их хоб ды алтэ русалкэ ге'гэт
Ун ду бист гут ун фрум.

Кум, зай майн русалкэ, Ружка кройн,
Кум вэр дос васэрвайб,
Х'хоб васэрройзн фар дайнэ хор
Ун пэрл фар дайнэ лайб.

Вэст хобн бай мир фун кол ha-гутс
Вос бессэрс кэн нышт зайн:
Бай тог дос гинголд фун дэр зун
Ун бай нахт дэм левонэ-шайн».

Рут хэрт ун фиберт. Ё, зи из грэйт.
Ойб ды швигер нэмт зи нышт мит,
Вэрт зи ды русалкэ фунэм тайх.
Ун зи шмэйхлт тройерик ун мид...

Руфь слышит, как шепчет у мельницы пруд:
«Иди ко мне, Ружка-душа,
Я дал уже прежней русалке развод,
А ты так собой хороша!

Иди же ко мне, стань русалкой моей,
Мы счастливы будем с тобой!
Вот белые лилии в косы тебе
И жемчуг на шейку речной.

Несметны богатства мои, и я
Отдам тебе всё добро:
Всё золото солнца я дам тебе днём,
А ночью – луны серебро!»

И думает Руфь: «Не захочет свекровь
С собой меня взять – я приду!
Уж в омут милей, чем в деревню домой,
И стану русалкой в пруду...»

НОЭМИ ФАРЛОЗТ ДОС ДОРФ

Ды ненэр крэйен фри ин дорф,
Сэ цитэрт дэр багин
Ин йедэр шойб фун дорф вос шлофт
Ви а гройсэ блоэ шпин.

Ноэми из вах, ды ганцэ нахт
Кайн ойг нышт цугемахт.
Вифил с'из ир цу лэбн башерт
Вэт зи гедэнкен ды нахт.

Ды дозыке шпэтэ зуммернахт
Мит штэрн, трэрн ун цаар,
Мит кворым вос руфн «Мамэ, блайб!»
Ун мит дэр штым фун нар,

Вос зогт: «Штэй ойф, майн кинд, фар тог,
Гей ин дайн ланд цурик,
Гот тройерт ибэр кворым нышт,
Гот фрэйт зих мит дэр виг.»

Зи нэмт ир пэкл. «Эрпэ! Рут!»
Швигер, мир зэнэн грэйт!
Орпэ фарройтлт, ды хор цэлост,
Рут ин а ситцэн клэйд.

НОЭМИ ПОКИДАЕТ ДЕРЕВНЮ

Поёт петух. В окошках хат
Заря уже горит,
Но затаившись, как паук,
Ещё деревня спит.

Ноэми ночью не спала,
И сколько будет жить,
Она не сможет никогда
Такую ночь забыть:

И три звезды, и трёх могил
Немой молящий глас:
«Ноэми! Мама! На кого
Ты оставляешь нас?»

И Божий суд: «Дитя моё!
Ступай в свой дом назад
Бог не горюет у могил,
Он колыбелькам рад!»

Она поднимает свой узелок.
И вдовы выходят втроём.
Орфа — румяная после сна.
Руфь — в ситцевом платье простом.

Зэй гейен. От из ды крэчэзэ фун дорф,
 Ды куэне фун Янэк дэм шмид,
 Дос кляйстэрл мит дэм принэм дах,
 Бу а блиндэр батлер кныт.

От из ды брик ун ды цвинтэр фун дорф,
 Ун от из дэр брэйтэр шях,
 Ун дорт ву дэр нимл рипт он ды эрд,
 Из дос ланд фун дэм Танах.

Дос ланд ву ды овойс һобн гелэбт,
 Дос ланд ву ды мандлбойм блит,
 Бу дэр винт ун дэр олтэр зенэн фрум
 Ун с'цитэрт дос һэйликке лид

Ибар барг ун гол, ибар валд ун фалд,
 Ибар васэр, проз ун бойм,
 Бу гот из ойф ан эмэсн до
 Ун нышт блониз ин дайн тройм.

Ноэми шмэйхлт. Дэр Эйберштэр лэбт,
 Ун зи из зайнс а кинд
 Рут нэбн ир из тройерык ун блэйх,
 Мит Орпэс һор шпитт дэр винт.

Вот кузница Янэка, вот корчма;
Минуют знакомой тропой
Под крышей зелёною старый костёл,
Где нищий сидит слепой;

Вот мост, и погост, и широкий тракт...
И где-то там, не видна
За лесом, где сходится небо с землёй,
Библейская есть страна.

Там дух патриархов живёт до сих пор,
Там миндаль весною зацвёл,
Там ветер священные песни поёт,
Там кроток даже орёл.

Над полями, лесами, вершинами гор
Там повсюду реет Танах.
И Господь Он там тоже повсюду живёт,
А не только в сердцах или снах.

У Ноэми светло на душе: Он живой,
И она у Него дитя!
Руфь бледна и грустна; ветерок озорной
Орфе волосы треплет шутя...

ОЙФН ШЕЙДВЭГ

Ойфн шейдвэг зингт дэр зуммервинт:

Ды вэгн зэнэн алт,
Эйн вэг цум дорф, эйн вэг цу Гот,
Дэр дриттэр вэг цум валд.

Дэр вэг вос фирт цум вилдн валд,
Дос из дэр вэг фун тойт,
Дэр вэг вос фирт цум штылн дорф,
Дос из дэр вэг фун бройт,

Дэр дриттэр вэг, вос фирт цу Гот,
Дос из дэр вэг фун фрэйд,
Вайл Гот из фрэйд ун ибер-фрэйд,
Гот из эйбикейт.

Ноэми хорхт. Ир нарц фарштэйт
Вос с'зингт дэр зуммервинт,
Зи хот зайн плапл шойн геһэрт
Ин вигл нох, а кинд.

Зи отэмт тыф. Сэ шмэкт ин фэлд
Мит фриш-гешнытн һэй,
Фар вос же тут дос шэйдн ир
Аж биз цу трэрн вэй?

НА РАСПУТЬЕ

Пел песню ветер голубой
Над стыком трёх дорог:
«Вот в лес дорога, вот в село,
А вот туда, где Бог.

В село налево повернуть
Тепло и хлеб найти.
Направо в лес то смертный путь:
Страшнее нет пути.

А прямо — путь туда, где Бог:
Пути вернее нет:
Ведь Бог Он радости светлей
И радостней, чем свет!»

И песню ветра поняла
Нозми до конца:
Он ей и в детстве пел не раз,
В шатре её отца...

Лугов горячих аромат
Так сладостно вдохнуть...
Зачем же боль разлуки ей
Так тяжко сжала грудь?

Ун Ноэми зогт: «Һэрт, тэхтэр, һэрт,
Вос с'һот цу зайн, зол зайн,
Мир правэн ды лэцтэ судэ до
Мит корнбройт ун вайн».

Зэй зэцн зих байм ранд фун вэг
Ун правэн ды судэ штыл,
Фун дэр вайтнс винкт цу зэй
Ды алтэ фарлозтэ милл.

Ды алтэ гутэ фарлозтэ милл
Штрэкт ойс ды һэнт цу зэй:
Их һоб айх йорн гетрай гедынт,
Фар вос тут ир мир вэй?

Ды липэбэймэр пазэ вэг,
Зэй зэнэн мид ун алт.
Зэй ройшн һайнт ви алэ мол
Ды бэйнкшафт цу дэм валд.

Ды фройен зыцн пазэ вэг
Ун правэн ды судэ штум,
Ун ибэр ды драй алмонэ кэп
Флатэрн швалбн фрум.

И пряча старые глаза
От молчаливых снох,
«Ну что ж, – промолвила она,
Будь так, как судит Бог.

Поешьте, дочери мои,
В последний раз со мной».
Была их трапеза проста:
Вино и хлеб ржаной.

Сидели молча на траве;
Горел в ней дикий мак.
Кивал им горестно вдали
Заброшенный ветряк,

Скрипел, бедняга: «Как могли
Меня покинуть вы?»
Шумели липы вдоль пути,
И только три вдовы

Молчали, сидя на краю
Дороги полевой,
И тих был ласточек полёт
У них над головой.

ОРПЭ ГЕЗЭГНЭТ ЗИХ

Орпэ из моднэ блэйх ун шэйн,
Бишас зи рэдт ды рэйд:
«Швигер, их хоб айх биз аһэр
Геgebн дос баглэйт.

Дорт hintэр ды волкнс лыгт майн һэйм
Ун хоч азой из зи шэйн,
Ун хоч азой из зи эйгн ун ноэнт,
Ун аһин цу вил их гейн.

Дорт бэнчт Пан Езус майн татнс фэлд
Ун дэр мамэс гебойгенэм коп,
Дорт трогт майн киндһайт а ройтэ шлейф
Ин ир блондн фаршайтн цоп.

Дорт ройшт дос васэр ун мурмлт дэр валд,
Ун дэр одлэр из блутык ун шарф,
Дорт шпилт ды либэ ун с'шпилт дэр тойт
Ойф эйн ун дэр зэлбэр һарф.

ОРФА ПРОЩАЕТСЯ

Орфа, бледнея, обняла
Свою вторую мать:
«Свекровь, простите, дальше я
Не стану провожать.

Вон там, направо, за холмом,
Где синих туч гряда,
Лежит мой край, мой отчий дом,
И я пойду туда.

Там ждёт моя мама. Там пашет босой
Отец на своей полосе.
Там детство моё, с белокурой косой
И с ленточкой красной в косе.

Там лес шелестит и журчит вода,
И орёл там когтист вполне!
А смерть и любовь играют там
На одной и той же струне.

Дорт нитн ды вэрбэс ды брэгэс фун тайх
Ун ды штаркэ дэмбэс дэм вэг,
Дорт зэнэн ды нэхт ви калэс фарбэнкт
Ун ви мутыкэ мэннэр ды тэг.

Дорт, швигер, из майн дорф ун майн хэйм,
Дорт, хинтэр ды волкэнс, дос ланд.
Зайт мойхл айер гейн аһэйм
һот ды эйгенэ хэйм мих дэрмант».

Орпэ швайгт. Зи отэмт тыф.
Ун Ноэми хэйбт ойф ды хэнт:
Аз войл из цу дэм вос гейт аһэйм
Нох йорн зайн ин дэр фрэмд.

Там плакучие вербы вдоль рек стоят,
Вдоль дорог – красавцы дубы;
Ночи этой земли как невесты грустят,
Дни её, как солдаты, грубы.

Там, свекровь, за облачной этой грядой
Деревня моя и мой дом.
Простите меня ваш – уход домой
Мне напомнил о доме моём».

Орфа тихо вздыхает. Ноэми-свекровь
Простирает руки над ней:
«Благословен, кто идёт домой,
На чужбине пробив много дней!»

ШАУЛ УН ДАВИД

«Бизту дэр шпиллэр ойф дэр нарф,
Вос фартрайбт ды бэйзэ гайстэр?»

«Я, майн мэлэх!»

«Нэм ды нарф, майн клэйнэр майстэр,
Мах дэм кранкн мэлэх фрэйлэх».

«Һэр, их шпил:

«Фун дэр барг-кейт им Ехуда

Нидэрт штыл а зуммер-нахт,

Штыл ун клор

Вилдэ ройзн ин ир гартл,

Ойфн коп гекройзтэ һор

Финклт блицт а кройн гинголдыг.

Зогт зи цу дэм лецтн пастух,

Вос из нох ин фелд фарблибн:

«Фарвос һосту ништ ды стадэ

Овнт-цайт аҺэйм гетрибн?

Ицт бизту ин фелд алэйн».

Зогт дэр пастух: «Нэйн алэйн!

Ду бизт до, ун ду бизт шейн,

Ун их вэйс аз шейн из һэйлык».

САУЛ И ДАВИД

«Говорят, ты злые чары
Можешь музыкой прогнать?
«Да, мой царь!»
Что ж, попробуй мне сыграть,
Разгони мои кошмары.
Ну, валяй, по струнам вдарь!»
«Слушай, царь!» – Арфист садится,
Льётся струнный перебор:
«Молодая Ночь-царица
С Иудейских сходит гор.
На кудрях её – корона;
Поясок – из диких роз.
Видит Ночь: пастух со склона
Гонит вниз овец и коз.

“Что ж ты медлишь, мальчик мой?
Все давно ушли домой!
Страшно в поле одному”, –
Говорит она ему.

“Вовсе я не одинок,
Отвечает пастушок,
Ты со мной и хороша,
Значит добрая душа!”

Лахт ды нахт: «ду клэйнэр штыфер,
Фарвос зогсту нышт ды вор?...
Я, с'из эмэс, вайл байм хойнэф
Зэнэн нышт ды ойгн клор,
Ви бай дыр, майн либер, клэйнэр».
Ун зи тут им он ир кройн:
«А матонэ дыр, майн шейнэр!»

Цытэрт ойф дэр мэлэх Шаул:
«Зог, ви хэйст дэр клэйнэр пастух?
Из зайн номэн дыр бакант?»
«Кейнэр кэн ым нышт ин ланд,
Ун зайн кройн из нор а холойм...
Ицт хэр вайтэр:

«Ойф а вайсн фэрд а райтэр
Кумт цу райтн фун ды вэгн,
Дурхгенэцт фун зуммер-рэгн,
С'шмэкт фун ым мит фришн хэй.
Гейт дэр пастух ым анткэгн,
Зайнэ ойгн штэрн цвэй,
Ун эр руфт дэм райтэр: «Нови!
Ун дэр райтэр руфт ым: “Мэлэх!”»

Ночь смеётся: “Вот хитрец!..
Впрочем, вижу, ты – не льстец:
Слишком чист твой взгляд и ярок!
Вот, возьми себе в подарок
Этот царский мой венец!”»

Вздрыгнул в страхе царь Саул
И копьё в певца метнул.
Промахнулся на вершок:
«Кто он, этот пастушок?
Как зовут его?» – «Не знаю:
Никому не ведом он,
И венец его – лишь сон...
Слушай, царь, я продолжаю:

По лугам и по стерне
Ехал всадник на коне;
Тёплым ливнем орошён,
Свежим сеном пахнул он.
“Здравствуй, мир тебе, Пророк!” –
Крикнул встречный пастушок,
И, коня умерив ход,
“Здравствуй, Царь!” – ответил тот».

Цыгэрт ойф дэр мэлэх Шаул:
«Зог, ви хэйст дэр фрэмдэр райтэр?
Из зайн номэн дыр бакант?»

«Кейнэр кэн ым нышт ин ланд,
Ун зайн ворт из нор а холойм...»

Мурмлт штыл дэр кранкер мэлэх:
«хэр, ду клэйнэр харфншпиллэр,
Штэл авэк ды харф ин винкл,
Их бин мид.
С'вэрт ды мит-нахт шарфэр, киллэр,
Ун дайн лид
нот нышт ойсгелэйзт майн тройер,
Нышт гелайтэрт мир майн холэм»...
«Гут нахт, мэлэх!»
«Гей бэ шолэм!»

Снова вздрогнул царь смятенный:
«Что за всадник дерзновенный?
Как зовут? Каков на вид?»
«Не слышал, — сказал Давид. —
Никому не ведом он,
И слова его лишь сон»...

«Ладно, мальчик, — царь бормочет, —
Убери свой инструмент.
Холодает. Дело к ночи.
Хватит сказок и легенд.
Я устал, и я больной.
Облегчить мои страдания
Ты не смог своей игрой»...

«Доброй ночи!»
«До свиданья».

А БРИВ ЦУ МАЛКЕЛЭ

Их'об, Малкелэ, гезунген,
Фрай ви а фойгл ин фелд:
«А едэр из а мейлах
Бай зих ин зайн гецэлт».

Ицт, малкелэ ду шейнэ,
Зэ их дэм тоэс айн,
Вайл дорт ву с'из до а мейлах,
Муз ойх а малке зайн.

Койм трэфт зих обэр, ды малке
Форт кайн Стамбул авэк
Ун лозт дэм мейлах тройерык
Штэйн бай дэм васэр-брэг

Из дэр мейлах шойн нышт кайн мейлах,
Найерт ан орэман,
Ун эр из рак меканэ
Дэм тэркишен султан.

ПИСЬМО К МАЛКЕЛЭ*

Ты, Малкелэ, помнишь, бывало,
Как птичка поёт на заре
Я пел накануне Субботы
«Я – царь у себя в шатре!»

Теперь я, Малкелэ, вижу:
Тут есть ошибка одна:
Ведь там, где царя мы имеем,
Царица быть тоже должна.

Когда же царица уедет
(В Стамбул, пожелать бы врагу!),
А царь остаётся, как цуцук,
Скучать на крутом берегу

Тогда он не царь, извиняюсь,
А нищий – бездомный пёс,
Турецкому же султану
Завидует прямо до слёз:

* Из цикла «Вэлвл Збаржер пишет красавице Малкелэ».

Дэрфар вайл зайн медынэ
Фармогт аза шейнэм паршойн
Шенэр фун шенстн дымэнт
Ин зайн гилдэнэр кройн.

Их, Малкелэ ды шейнэ,
Их бин эс дэр орэман,
Ун их бин эс меканэ
Дэм тэркишен султан.

*Ун нышт нор им, нор афилу
Дэм фойгл, дэм волкн, дэм винт,
Зи кенэн дых алэ дергрейхн
Ин эйн рэге гешвинт.*

*Их шик мит от ды шилухим
Дыр грусн а едэ нахт
Цы hobн хочбы ды хэврэ
Амол ды грусн гебрахт?*

Ойб ё, то шик же мир тэйхеф
Мит зэй ан энтфэр цурик
Дэм фойгл, дэм винт ун дэм волкн
Гетрой их фун томид майн глик.

Ведь турок достал, чтоб не сглазить,
Персону с такой красотой,
Как самые лучшие камни
В короне его золотой!

А я, моя Малкелэ-сердце,
И есть тот босяк и пёс,
Который злодею султану
Завидует-таки до слёз.

Не только ему – ведь для птичек,
Для ветра и для облаков
В момент до тебя добраться
Лишь парочка пустяков!

Я шлю тебе с этой хёврой
Каждую ночь поклон.
А ты ж бы хоть раз сообщила,
Или доходит он!

И если да – то сейчас же
Пришли мне с ними ответ:
Облачку, ветру и птичке
Верю я с малых лет.

БИБЛЕЙСКАЯ
КНИГА ЭККЛЕЗИАСТА

Еврейское царство возникло, по Библии, около 3000 лет назад. До этого двенадцатью коленами (племенами) Израильскими, объединенными монотеизмом, правили пророки, первосвященники и судьи. «Бог – наш единственный повелитель!» – считали евреи. Ясно, что в борьбе с враждебными соседями этого было мало.

Последним таким некоронованным правителем Эрэц Исраэль был пророк и верховный жрец Шмуэль (Самуил), который и помазал в цари воина Шаула (порусски Саул) – атлета и храбреца. Он правил в 1040–1012 гг. до н. э., но ещё при его жизни, рассорившись с ним, Шмуэль назначил нового царя юношу-пастушка Давида, победившего филистимского великана Голиафа.

Давид был поэтом-«бардом» с арфой вместо гитары. Он долго боролся с Шаулом за власть, скрывался от него, партизанил, а потом, после гибели Шаула в бою с филистимлянами, семь лет был царём Иудеи в Хевроне.

Иудея (Южное Царство) создалась на землях колен Иуды и Венямина. Северное Царство – остальные десять племён, терпя поражения от соседей, со временем также признали Давида: он стал царём надо всем Израилем, отвоевал у евусеев город-крепость Йерусалим и сделал его своей столицей. «Ир Давид» – город Давидов – так до сих пор называют старый город, огороженный крепостной стеной.

Правил царь Давид 40 лет (1012–972 гг. до н. э.). Он реорганизовал армию и создал крупную державу от Эйлата и границ Египта до Дамаска и реки Евфрат.

Третий царь его сын Шломо (Соломон, 972–932 гг. до н. э.) прославился не как воин и завоеватель, а как мудрец и богач: искусный судья, дипломат, строитель, промышленник и купец. Он построил в столице Первый Храм, развил экономику и внешние сношения, окружил себя роскошью и богатством, включая огромный гарем...

Общим у Давида и Соломона было влечение к искусству и литературному творчеству. Если Давид, поэт и музыкант, считается автором множества Псалмов, то Соломон, как утверждает Библия, был автором красочной эротической поэмы «Песнь Песней» и соавтором Книг Царств; он создал несколько новых псалмов, а также, по преданиям, *«сочинил 1005 песней (описав свойства всех растений, зверей и птиц) и 3000 притчей»* и афоризмов, которые частично вошли

в библейские книги: «Книгу Притчей Соломоновых», «Книгу Экклезиаста, или Проповедника», «Книгу Песни Песней» и в три не канонизированных («Премудрость Соломона», «Завет Соломона» и «Псалмы Соломона»).

«Экклезия» по-гречески: церковь (не здание, а сама община, по-немецки Gemeinde, на иврите «кеһилá» или – в простонаречьи – «кеилá»), а «Экклезиаст» – тот, кто в ней выступает, проповедник (на иврите «коһэлет», читается «коэлет», с ударением на «э»).

Многие изречения Экклезиаста давным-давно превратились в пословицы разных народов и языков, но далеко не все знают, кто был (или слыл) их подлинным автором...

Предлагаемый перевод Книги Экклезиаста – это ни в коем случае не «новая поэма» на его основе*. Текст оригинала переводчик сохранил по возможности точно, не украшая его простой язык, ничего не добавляя от себя, только зарифмовал для благозвучия, но тоже примитивно, без вычурных и усложнённых поэтических средств, пуще всего стремясь передать простоту и лаконичность древнего текста Библии.

В порядке ознакомления читателей с моей «перевод-ческой кухней» *первую главу* Книги Эккле-

зиаста и несколько характерных примеров из следующих глав я переписал русскими буквами и, сопровождая дословным переводом (*в скобках курсивом*), поместил их на левых (чётных) страницах параллельно стихотворному переводу.

Это даст представление и о *звучании* оригинала. Всю книгу переписывать таким способом не стоит: создаются трудности и для переводчика, и для читателей.

Глава 1

1. Диврэй Коһэлет, бэн Давид, мэлэх бьИрушалаим:
2. новэль новалим, амáр Коһэлет, новэль новалим, һакóль һэвэль. *(Слова Экклезиаста, сына Давидова, царя в Йерусалиме: Суета сует, сказал Экклезиаст, суета сует, всё суета!)*
3. Ма йитрón ла адам бэ холь амалó, ше яамóль тахат һа шамеш? *(Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем?)*
4. Дор һалáх ве дор ба ве һаárэц леолáм омэдэт. *(Род ушёл, и род пришёл, а земля пребывает всегда.)*
5. Ве зарáх һашэмэш у ва һашэмэш, ве эль мекомо шозéйв зорэах һу шам. *(И восходит солнце, и заходит солнце, и идёт к месту своему, где оно восходит.)*
6. һолéх эль дарóм вэ совэйв эль цафóн һарúах, совэйв, совэйв һолех һарúах, ве аль свивотáйв шав һарúах. *(Идёт к югу и сворачивает к северу ветер, кружится, кружится ветер на ходу своём, и на круги свои возвращается ветер).*

Глава 1

1. Сказал Коэлет, бен-Давид, йерусалимский царь:
2. Всё суета сует – и то, что совершалось встарь;
и то, что есть; и что грядёт, чего не видел свет:
всё, говорит Экклезиаст, всё – суета сует.
3. Чтó пользы от своих трудов имеет человек?
4. Уходит род, приходит род, одна земля – навек.
5. Восходит солнце над землёй и в путь спешит с утра,
и сходит в ночь, и вновь взойдёт всё там же, где вчера.
6. И ветер, к северу стремясь, свернёт потом на юг:
кружится ветер, но опять на свой вернётся круг.

7. Коль ханахлим холхим эль хаям, вэ хаям эйнэну малей. *(Все реки текут в море, а море не наполняется.)*
Эль маком ше ханахлим холхим, шавим лалэхет. *(К тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы течь снова.)*
8. Коль надварым егэйим ло юхаль иш ледабер ло тысба айин лирѳот ве ло тымале озэн тышмоа *(Все вещи в труде; не насытится глаз увиденным, не наполнится ухо услышанным.)*
9. Ма ше хая – ну ше йиһѳе, у ма ше наасá – ну ше йеясэ, ве эйн коль хадáш тáхат хашамэш. *(Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем.)*
10. Еш давáр ше йомэр «рээ, зэ хадáш!» – ну квар хая ле олаим, ашер хая мильфанэйну. *(Бывает нечто, о чём говорят: «Смотри, это – новое!»; но это было уже в веках, которые были до нас.)*
11. Эйн зихрón ла ришоным ве гам ла ахароным, ше йиһъю, ло йиһѳе лаһэм зикарón ым ше йиһъю лаахаронá. *(Нет памяти о прежних; так же и о будущих не останется памяти у тех, которые будут после них.)*
12. Аны, Коэлет, хаиты мэлех аль Исраэль би Йрушалáим. *(Я, Экклезиаст, был царём над Израилем в Иерусалиме.)*

7. И льётся в море вся вода всех рек со всей земли,
и возвращается туда, отколь они текли,
и льётся вновь, но океан не переполнить ей.

8. И не наполнить зримым глаз, а слышимым — ушей.
И как другому передаст свой опыт человек?
Всего ему не рассказать, не показать вовек...

9. Всё повторяется опять, что было прежде нас.
И нет под солнцем ничего, что случилось в первый раз.

10. «Вот это — новое!» — порой о чём-то говорят,
а это тоже было встарь, столетия назад.

11. Нет места в памяти людской делам далёких лет.
Забудут нас, а после — тех, что нам придут вослед...

12. Я, бен-Давид, Экклезиаст, в Йерусалиме жил.
Я был в Израиле царём и мудрецом прослыл.

13. Ве натáты эт либи лидрош ве латур ба хохмá аль коль ашер наасá тáхат һа-шамáйим; ну иньян ра натан Элоһим ли бнэй һа-адам лаанот би. *(И отдал я сердце моё тому, чтобы изучить и испытать мудростью всё, что делается под небом; это тяжкое дело дал Бог людям, чтобы занимались им.)*
14. Раиты эт коль һа-маасым, ше наасу тáхат һа-шáмэш, ве һинэй һакóль һэвэль у рэут рúах. *(Я видел все дела, что делаются под солнцем, и вот всё суета и томление духа.)*
15. Меуват ло юхаль литкон, ве хэсрон ло юхаль леһиманот *(Кривое нельзя выпрямить, а чего нет то не считается.)*
16. Дыбáрты аны им либи леймор: аны һинэй һигдáльты ве һосáфты хохмá аль коль ашер һайя лэфанай аль Ерушалáим, ве либи раá һарбэй хохмá ве дáат. *(И я сказал сердцу моему: вот, я приобрёл величия и ума больше всех, что были прежде меня над Иерусалимом, и сердце моё видело много мудрости и знания.)*
17. Ва этнá либи ладáат хохмá ве дáат, һолейлот ве сих-лут, вэ ядаты ше гам зэ — ну рэут рúах. *(И отдал я сердце моё тому, чтобы познать и мудрость, и науку, и безумие, и глупость, и узнал, что и это томление духа.)*

13. И вот, решил познать я смысл земных трудов и дел,
и свойств, которые Господь нам, людям, дал в удел.

14. И понял я, что все дела, какими занят свет, —
томленьё духа, и тщетá, и суета сует.

15. Тому, что создано кривым, прямым уже не стать;
и то, чего в природе нет, нельзя в расчёт принять.

16. И я сказал себе: ну вот, наверное, не зря
меня возвысил мой народ как мудрого царя.
Я много видел и познал и ощутил душой:
и суть, и цену всем делам, и мудрости самой;
безумству, глупости, уму — и познаванью самому.

17. И в познании самом, я понял, смысла нет:
оно — всё та же суета, и суета сует.

18. Ки бе ров һа- хохма́ рав ка́ас, ве йосиф да́ат йосиф махов. *(Ибо во многой мудрости много печали, и кто умножает познания, тот умножает страдания.)*

Из других глав

- 2:4. һигда́льты мааса́й: бана́ты ли бата́ым, ната́нты ли крамы́м. *(Я предпринял большие дела: построил себе дома, посадил себе виноградники.)*
- 2:5. Асы́ты ли ганно́т у фардэйсы́м ве ната́нты ба́һэм эйц ко́ль-при. *(Я устроил себе сады и рощи, и насадил в них разные плодовые деревья.)*
- 2:6. Асы́ты ли брейхо́т ма́йим леһашко́т мейһэм яар, цомза́х эйцы́м. *(Сделал себе водоемы для орошения садов, где росли деревья.)*
- 2:8. Кана́сты ли гам кэ́сэф ве заһа́в у сэгу́лэйт млахы́м ве һа-мдыно́т, асы́ты ли шары́м ве шаро́т ве таа-нуго́т бнэй һа-адам — шидда́ ве шиддо́т. *(Я собрал себе также серебро и золото и драгоценности от царей и государств; завел у себя певцов и певиц и наслаждения сынов человеческих — разные музыкальные орудия.)*

18. Где мудрость, там печаль, и я с годами познаю:
кто множит знания свои, тот множит скорбь свою.

Из других глав

- 2:4. Предпринял я немало дел: возвёл себе домá,
Расширил нив своих предел, наполнил закрома,
- 2:5. И виноградник насадил, и рощи и сады;
- 2:6. Для орошенья вырыл в них колодцы и пруды.
И сердце радовали мне обильные плоды.
- 2:8. В моей казне не перечесть даров чужих царей,
И золота, и серебра, и дорогих камней.
И услаждают слух и взор мне звонких струн напев,
И стройный песельников хор, и пляски юных дев.

- 2:11. У фаныты ани́ бе холь маассáй, ше асу ядда́й, у ве амáль, ше амáльты лаасóт – ве хинэ́й, хакóль хэвэ́ль у рэу́т руах, ве э́йн йитро́н та́хат хаше́меш. *(И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их: и вот, всё – суета и томление духа, и нет от неё пользы под солнцем!)*
- 7:2. Тов лалéхет э́ль бейт-эвель ми лéхет э́ль бейт-миштэ́, бааше́р ну соф ко́ль ха-ада́м ве хаха́й йи-тэ́н э́ль либó. *(Лучше ходить в дом плача об умёршем, нежели ходить в дом пира; ибо таков конец всякого человека, и живой приложит это к сердцу своему.)*
- 9:10. Ко́ль аше́р тымца́ ядха́ лаасóт бе хохáха асэ́, ки э́йн маасэ́ ве хэ́шбон ве да́ат ве хохма́ би шео́ль, аше́р ата хо́лэх ша́ма. *(Всё, что может рука твоя делать, по силам делай; потому что в могиле, куда ты пойдёшь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости.)*

2:11. Но оглянулся я на всё, что делал много лет,
И понял: всё это — тщета́, от коей пользы нет, —
Томленье духа, суета и суета сует.

7:2. Чем в дом ходить, где пир горой,
ходите лучше в дом,
где по умершему скорбят и слёзы льют о нём, —
чтоб сердцем вашим не забыть о жребии своём.

9:10. По силам делай, что хотят рука твоя и ум:
в могиле, куда ты пойдёшь, нет ни трудов, ни дум.

*И, покончив на этой не слишком
оптимистичной ноте с «переводческой кухней»,
перейдем к полному тексту библейской
«Книги Экклезиаста» — с начала!*

קְהֵלֶת

LIBER ECCLESIASTAE КНИГА ЭККЛЕЗИАСТА

Глава 1

1. Сказал Коэлет, бен-Давид, йерусалимский царь:
2. Всё суета сует — и то, что совершалось встарь;
и то, что есть; и что грядёт, чего не видел свет:
всё, говорит Экклезиаст, всё — суета сует.
.
3. Чтó пользы от своих трудов имеет человек?
4. Уходит род, приходит род, одна земля — навек.
5. Восходит солнце над землёй и в путь спешит с утра,
и сходит в ночь — и вновь взойдёт всё там же, где вчера.
6. И ветер, к северу стремясь, свернёт потом на юг:
кружится ветер, но опять на свой вернётся круг.
7. И льётся в море вся вода всех рек со всей земли,
и возвращается туда, отколь они текли,
и льётся вновь, но океан не переполнить ей.

8. И не наполнить зримым глаз, а слышимым — ушей.
И как другому передаст свой опыт человек?
Всего ему не рассказать, не показать вовек...
9. Всё повторяется опять, что было прежде нас.
И нет под солнцем ничего, что случилось в первый раз.
10. «Вот это — новое!» — порой о чём-то говорят,
а это тоже было встарь, столетия назад.
11. Нет места в памяти людской делам далёких лет.
Забудут нас, а после — тех, что нам придут вослед...
12. Я, бен-Давид, Экклезиаст, в Йерусалиме жил.
Я был в Израиле царём и мудрецом прослыл.
13. И вот, решил познать я смысл земных трудов и дел,
и свойств, которые Господь нам, людям, дал в удел.
14. И понял я, что все дела, какими занят свет, —
томленье духа, и тщета́, и суета сует.
15. Тому, что создано кривым, прямым уже не стать;
и то, чего в природе нет, нельзя в расчёт принять.
16. И я сказал себе: ну вот, наверное, не зря
меня возвысил мой народ как мудрого царя.

Я много видел и познал и ощутил душой:
и суть, и цену всем делам, и мудрости самой;
безумству, глупости, уму – и познаванью самому.

17. И в познавании самом, я понял, смысла нет:
оно – всё та же суета, и суета сует.

18. Где мудрость, там печаль, и я с годами познаю:
кто множит знания свои, тот множит скорбь свою.

Глава 2

1. Я вздумал душу испытать: чтобы была сыта
добром, весельем – но гляжу: и это – суета.

2. Смех – это глупость, я сказал, веселье же –
смешно...

3. Я вздумал тело усладить и вволю пил вино.
И воле сердца вопреки, избрал тропу глупцов,
чтобы вопрос, как лучше жить, решить в конце концов:

что́ должен делать человек в земной юдоли сей,
чтобы прожить свой краткий век счастливей и полней?

4. Предпринял я немало дел: возвёл себе дома́,
расширил нив своих предел, наполнил закрома,

5. И виноградник насадил, и роши, и сады;

6. Для орошенья вырыл в них колодцы и пруды.

И сердце радовали мне обильные плоды.

7. Я больше прежних всех царей завёл себе рабов,
и слуг, и множество скота, и резвых скакунов.

8. В моей казне не перечесть даров чужих царей,
и золота, и серебра, и дорогих камней.

И услаждают слух и взор мне звонких струн напев,
и стройный песельников хор, и пляски юных дев.

9. Я стал богаче и славней, чем все, кто правил встарь
в Йерусалиме, и меня прозвали «мудрый царь».

10. Я не отказывал себе ни в чём, что захочу:
ведь только это за труды себе я уплачу,
а умирая — ничего с собой не захвачу.

11. Но оглянулся я на всё, что делал много лет,
и понял: всё это — тщетá, от коей пользы нет, —
томленье духа, суета, и суета сует.

12. Я в этой жизни всё познал, прожил её не зря:
кто смог бы в опыте земном опередить царя?

Осталось мне познать лишь суть безумья и ума...

13. И понял я, что мудрость — свет, а глупость — это тьма;

14. Мудрец — как зрячий, а глупцу дорога не видна.
Но оба движутся к концу, и участь их — одна.

15. И я о мудрости своей сказал: к чему она?

Меня ведь так же, как глупца, постигнет участь та.
Зачем я знания копил? И это — суета!

16. Увы! И умный, и дурак забудутся в веках.
И мудрый с глупым наравне умрёт и ляжет в прах.

17. И я возненавидел жизнь, от коей пользы нет.
Противны стали мне дела, какими занят свет:
томленье духа это всё и суета сует!

18. И ненавистны стали мне творенья рук моих
и тяжкий труд, которым я трудился ради них:

они достанутся тому, кто, не трудясь и дня,
придёт в подлунный этот мир, чтоб заменить меня.

19. Как знать, он будет мудрецом или глупцом слепым?
Но он распорядится всем наследием моим,
в котором весь мой тяжкий труд и мудрость долгих лет.
И это тоже — суета, и суета сует...

20. И я сказал себе: смиришь, людской удел таков.
Без сожалений отрекись от всех своих трудов:

21. В них столько мудрости твоей, успехов и побед,
и вдруг присвоит их себе глупец и дармоед,
и будет то великим злом и – суетой сует!

22. Ибо не может человек оставить ничего
себе от дела рук, ума и сердца своего.

23. Вся жизнь его – лишь скорбь одна,
и труд его – тщета,
и по ночам покоя нет, и это – суета!

24. Простое благо: есть и пить и радоваться всласть –
и в том не волен человек: на всё Господня власть.

25. Лишь волей Бога одного мы и едим, и пьём,
и наслаждаемся добром, и дышим и живём.

26. Тому, кто праведен пред Ним,
даёт Он мудрость жить,
и радость от своих трудов, и счастье любить.

А грешному – лишь груз забот: копить и собирать,
не спя ночами, а потом – всё праведным отдать.

Но те и эти лягут в прах, иной дороги нет.
Вся наша жизнь – лишь маета и суета сует.

Глава 3

1. Для всякой вещи на земле есть свой урочный час.
2. В свой час приходим мы на свет и смерть уносит нас.

Есть время насаждать сады – и время корчевать.

3. Приходит время убивать – и время врачевать;

и время строить города – и снова разрушать;

4. смеяться время – и рыдать; скорбеть – и ликовать,

5. Есть время камни собирать, и время их бросать;
и время нежно обнимать – и гордо отстранять;

6. Приобретать – и раздавать, терять – и находить.

7. Есть срок шивать – и разрывать,

молчать – и говорить;

8. И ненавидеть, и любить приходит людям срок.

И время миру, и войне нам назначает Бог.

9. Чтó пользы людям от земных трудов, забот, хлопот?

10. Спасая смертных от тоски, всё это дал им Тот,

11. Кто совершенным создал всё

и мир вложил в сердца,

хоть и не может человек с начала до конца

постичь за свой короткий век величия Творца.

12. И понял я, что для людей нет в жизни ничего прекраснее, чем просто жить по милости Его и делать добрые дела от сердца своего.

13. Блаженны те, кто так живёт:
кто веселится, ест и пьёт,
и зрит добро в делах своих:
Господний дар в сердцах у них.

14. Я понял: всё, что создал Бог, останется навек,
и ни прибавить, ни отнять не может человек.

15. Что было, то и ныне есть; что будет – было встарь;
способен прошлое вернуть земли и неба Царь.

16. Хоть знаю я: в среде людей немало зла найдёшь –
и беззакония судей, и в месте правды – ложь, –

17. Но злых ли, праведных – всех нас
к ответу призовут:
всему под солнцем будет час, и всем Господний суд.

18. И я сказал в душе своей: пред Богом все равны –
и зверь, и скот, и род людской, адамовы сыны.

19. Одно дыхание у всех, и преимуществ нет
у человека пред скотом: всё – суета сует.

20. И завершение одно во всех мирских делах:
из праха всё сотворено, и всё вернётся в прах.

21. Кто подтвердит, что дух людей уходит в небеса,
а дух животных в глубь земли? – Пустые слова.

22. И понял я, что ничего нет лучше в жизни сей,
как наслаждаться делом рук и мудрости своей,
и это плата нам за всё: ведь не наступит час,
когда нас приведут взглянуть, что́ будет после нас.

Глава 4

1. Несправедливостью и злом наполнен этот свет,
где льются слёзы бедняков, а утешенья нет.
Их угнетатели сильны – а утешенья нет!

2. Блаженны мёртвые в гробах: им больше повезло,
чем нам, живущим до сих пор и видящим всё зло.

3. А всех блаженней – кто ещё не родился на свет
и не видал тщеты его и суеты сует.

4. Узнал я также, что успех, удачливость в делах
рождают злобу и вражду в завистливых сердцах,

5. И даже в глупых, что сидят и, не подняв перста, съедают плоть свою, — и в них всё та же суета!

6. Меж тем и малая щепóть в покое и тиши не лучше ль пригоршней добра в томлении души?

7. Ещё такую суету я в мире видеть мог:

8. Живёт под солнцем человек — как камень одинокий; ни сына нету, ни отца, ни брата, ни жены, но нет трудам его конца. Кому они нужны?

9. Нет хуже человеку жить на свете одному:

10. Упал — и некому прийти и встать помочь ему.

11. И если двое лягут спать — обоим им тепло, а одному в лихую ночь согреться тяжело.

12. И если сильный одного начнёт одолевать, то двое, хоть и послабей, смогли бы устоять: и втрое скрученную нить не просто разорвать.

13. Блаженней юноша-бедняк, острящий глаз и слух, чем царь, который стар и глуп и к увещаньям глух.

14. Ибо для первого из них, хоть бедняком рождён, ещё наступит день, когда взойдёт на царство он.

15. Под солнцем много видел я властителей таких,
что ходят с юным мудрецом, который сменит их.

16. И было так, и будет так в грядущие лета,
но утешенья в этом нет: и это – суета...

17. Когда идёшь в Господний Храм, будь более готов
не жертвы принести Ему, а вникнуть в мудрость слов,
ибо приятнее Творцу не всесожженье дым,
а послушание людей речениям Своим.

Глава 5

1. В твоих молитвах не спеши побольше слов сказать:
и молчаливый зов души сумеет Бог понять.
Он на́ небе, ты – на земле, и лишних слов не трать.

2. Ведь как при множестве забот нам снится много снов,
так можно глупого узнать по избытию слов,

3. А к суесловному глупцу не расположен Бог.
И если дашь Ему обет – спеши исполнить в срок.

4. И лучше вовсе не давать обетов никому,
чем обещать – но изменить обету своему.

5. Не позволяй своим устам в грехи тебя ввергать,
чтоб не пришлось потом в слезах ошибки признавать;

и суесловием пустым, для красного словца,
не навлекай Господний гнев и кару от Творца.

6. Где много снов и много слов – там много суеты.
Итак, немногословен будь, и бойся Бога ты.

7. Когда несправедливый суд под солнцем
ты найдёшь,
и притесненье бедняка, и вместо правды – ложь,
без удивления смотри, ибо, за всем следя,
и над высоким Высший есть, и над судьёй – Судья.

8. А для страны всего важней, чтоб царь заботился
о ней.

9. Не будет сребролюбец сыт нажитым серебром;
и что за польза богачу владеть своим добром?

10. Чем он богаче – больше тех, кто кормится при нём

11. Когда рабочий человек трудами утомлён,
то много, мало ли он съел – ему приятен сон.
Но коль пресытился богач – уснуть не может он.

12. Ещё увидел я недуг и суету сует:
бывает, копит человек добро себе во вред
и не умеет уберечь его от разных бед.

13. Родился сын – и ничего уже для сына нет.

14. Из лона матери своей выходишь ты нагой –
таким же нищим и нагим уходишь в мир другой,
И ничего не можешь взять и унести в руках.

15. И это тяжкий наш недуг, проклятие в веках:

Всю жизнь трудился человек, спасаясь от нужды,

16. И ел впотьмах и второпях, не чувствуя еды.

Но ничего не принесли ему его труды.

17. Блажен лишь тот, кто зрит добро в своих делах

земных

и знает радость от плодов ума и рук своих.

И нет приятней ничего;

и жизнь – дар Божий для него.

18. И если человеку Бог богатство дал и власть,
чтоб брал он долю из него и пользовался властью,
и ел, и пил, и дни свои с весельем проводил,
то это за труды его Господь вознаградил.

19. Не долго память проживёт о наших днях земных,
и радость сердца нам даёт Всевышний вместо них.

Глава 6

1. Ещё под солнцем злой недуг я часто наблюдал:
2. Достаток, славу, власть, досуг Господь кому-то дал – всё есть в избытке у него, что пожелать бы мог, но наслаждаться этим всем не позволяет Бог, а наслаждается чужой: ни брат ему, ни друг. И это тоже суета, и тяжкий наш недуг.
3. Такой бедняк хоть тыщу лет под солнцем проживёт и сто детей родит на свет – но счастья не найдёт, не обретёт в душе покой, не будет погребён... Ведь даже выкидыш – и тот счастливее, чем он:
4. Пришёл случайно, не успел увидеть ничего, и даже именем никто не нарекал его;
5. Не зная радостей и бед, он вновь ушёл во тьму – без слёз, страданий, – и ему покойней, чем тому.
6. А тот, прожив и тыщу лет без радости от дел, в слезах покинет этот свет: у всех один удел.
7. Что бы ни делал человек, труды его – для рта: не наполняется душа и вечно несыта.

8. Умён ли тот, кто наделён умением хитреца?
И чем же всё-таки мудрец счастливее глупца?
9. Глазами видя, ты поймёшь любую вещь верней,
чем в рассуждении слепом бродя душой по ней.
10. Что существует на земле — уже наречено.
И если это человек — ему не суждено
ни возражать, ни спорить с Тем, Кем всё сотворено...
11. Путей немало к суете; но где такой найти,
чтоб убежать от суеты по этому пути?
12. Ибо кто знает, как прожить свою частицу дней
нам в этом суетном миру, в миру живых теней;
- И скоро ль наш последний час,
И что случится после нас?

8. Начало дела — хорошо, но главное — конец.
И терпеливый лучше, чем заносчивый гордец.
9. Не поспешай душой на гнев, когда он рвётся вон:
Ведь только в сердце у глупцов всегда клокочет он.
10. Не сто́ит задавать вопрос: «Вот почему в былом
гораздо лучше нам жилось, чем нынче мы живём?» —
не сто́ит, ибо нет ума в суждении таком.
11. Вдвойне полезна мудрость тем, кто наделён добром:
Ведь тот, кто мудростью богат — богат, как серебром,
12. но лишь она приносит жизнь в любой богатый дом.
13. Познай, как всё сотворено Создателем твоим,
ибо не выпрямить того, что создал Он кривым.
14. В благие дни вкушай добро и тело усладдай,
а в дни несчастий — размышляй и душу возвышай;
и то́, и это сделал Бог для блага твоего
и для того, чтоб ты не мог роптать против Него.
15. Ещё видал под солнцем я, живя среди людей:
как гибнет праведник при всей безгрешности своей,
но процветает много дней мошенник и злодей.
16. Не будь излишне строг к другим и, почести любя,
не выставляйся мудрецом: зачем губить себя?

17. Старайся избегать греха, в безумства не впадать, чтоб прежде срока своего сей мир не покидать.

18. Стремясь держаться одного во всех твоих делах, с другого не снимай руки. Кто знает Божий страх, возмездья может избежать, не потонув в грехах.

19. Мудрец сильнее может стать, чем властелин иной, имеющий большую рать за крепостной стеной.

20. Нет человека на земле, который бы вершил одни лишь добрые дела и в жизни не грешил.

21. Не стоит слушать всякий раз, что говорят, дабы не услышать, как меж собой злословят нас рабы.

22. Тем паче, что легко найти немало и таких примеров, когда сами мы злословили других.

23. Итак, решил я мудрым стать в далёкие года, но я от мудрости далёк и нынче, как тогда.

24. Былое — глубоко в земле, и нету никого, кто б разглядел его во мгле и мог постичь его.

25. Направил сердце я к тому, чтоб суть всего познать;
безумью, глупости, уму определенье дать,
исследовать всё самому и мудрость изыскать.

26. Не много истин я обрёл и смог лишь углядеть,
что горше смерти женский пол, что женщина — как сеть;

что сердце у неё — силки, а руки — крепче пут;
и только праведные к ней в рабы не попадут,

а грешного — уловит в сеть и вырваться не даст!

27. Вот что нашёл я и познал, сказал Экклезиаст.

28. Когда ж я праведных искал, был трудным поиск мой:
мужчин — на тысячу один, а женщин — ни одной.

29. Когда был первый человек из праха сотворён —
как все создания Творца, был совершенен он;

но люди, Бога позабыв, утратив чистоту,
пустились в помыслы свои, в грехи и суету.

Глава 8

1. Учёный может суть вещей постигнуть до конца.
Наука просветляет взор и облик мудреца,
и доброту даёт взамен суровости лица.
2. И о царе я говорю: внимай его устам.
А слово, данное царю – как клятва небесам.
3. Не поспедай от глаз его и не упорствуй зря,
когда недоброе творишь, по мнению царя.
Ведь всё равно он будет прав, по-своему творя!
4. Где слово царское – там власть, и нету никого,
кто, не боясь в немилость впасть, не слушался его.
5. Кто чтит Закон – тот мирно спит, тревоги не познав.
Он доверяет мудрым знать и время, и устав
6. для всех вещей и дел земных: откуда знать ему,
7. что будет дальше, и когда, и как, и почему?
8. Увы, не властен человек над собственной душой,
чтоб душу в теле удержать и день отсрочить свой:
нет избавления, и нет надежд ни у кого,
и нечестивца не спасёт нечестие его.

9. Так изучал я все дела, какими занят свет.
И вот что я ещё нашёл, ища причины бед:
власть человека над другим — подчас себе во вред.

10. Ещё я наблюдал порой, как хоронили злых:
проходят люди стороной, и не глядят на них,
и забывают в тот же час среди забот мирских.

11. Увы не скоро правый суд вершится у людей,
и не страшатся делать зло преступник и злодей,
12. Но им — когда придет их час — не скрыться от судей.

И благо будет тем, кто чтит Всевышнего Закон
и ходит праведным путём, как заповедал Он.

13. От нечестивого же Бог отступится, и тот,
как тень, утратившая свет, недолго проживёт.

14. Но и другую я встречал под солнцем суету:
страдает добрый человек и терпит нищету,
а нечестивому судьба все блага отдала,
каких достоин человек за добрые дела.

15. И я веселье восхвалил: нет радости иной,
как веселиться, есть и пить под солнцем и луной,
и это — доля от трудов во весь наш срок земной.

16. Когда я начал познавать величие Божьих дел
и смысл земных трудов, что Он дал смертному в удел,
среди которых человек забыл покой и сон,
17. — я понял: этого вовек постичь не может он!

Итак, не верьте похвальбе любого мудреца,
который скажет, что постиг все замыслы Творца.

Глава 9

1. В руке Всевышнего мудрец и праведник любой.
Никто не может сам понять, что́ видит пред собой:
любовь ли, ненависть ли в том... Одна лишь вещь ясна:
2. всему и всем придёт конец, и участь всех равна:

того, кто чист, — и кто нечист; того, кто для людей
творит лишь доброе, — и кто — злонравный лиходей;

того, кто сердцем мудр, — и кто не смыслит ничего;
кто Богу жертвует — и кто не делает того;

того, кто праведен, — и кто погряз в грехах своих;
кто клятвы с лёгкостью даёт — и кто боится их.

3. И нет недуга на земле, что этого страшней;
и зла исполнены сердца всех, кто живёт на ней
и после бешеных страстей уходит в мир теней.

4. Кто жив — надеется ещё, тоску преодолев,
ибо блаженней пёс живой, нежели мёртвый лев.

5. Кто жив — хотя бы знает: смерть настигнет и его,
а те, что умерли уже, не знают ничего.

И воздаяния им нет, и память их прешла.

6. Их ревность, ненависть, любовь навеки скрыла мгла,
и не коснутся их вовек живых людей дела.

7. Итак, иди и ешь твой хлеб в покое и тиши,
и вволю пей твоё вино с веселием души,
и сердцем радуйся плодам ума и рук твоих,
Пока Господь благоволит к тебе в делах земных.

8. Одежды светлые надень: приятен светлый тон;
возлей на голову елей, да не скудеет он;

и поступай так всякий день, чтобы земные дни
как праздник были у тебя — ведь коротки они.

9. Живи в веселии с женой: тебе её дал Бог,
чтоб ты любил её душой и наслаждаться мог:
и это — доля от трудов за весь земной твой срок.

10. По силам делай, что хотят рука твоя и ум:
в могиле, куда ты пойдёшь, нет ни трудов, ни дум.

11. Ещё, взглянув кругом себя, я убедиться смог,
что не сильнейшему в бою даёт победу Бог;
не самый резвый иногда выигрывает бег,
и хлеб имеет не всегда прилежный человек;

Не мудрым достаётся власть и не достойным — честь,
а только случай и момент для всякой вещи есть.

12. Но человеку не дано момент свой углядеть,
и попадает он в беду, как зверь и рыба — в сеть...

13. Ещё хочу я рассказать о случае таком:

14. Однажды город небольшой был окружён врагом.
И наступала на него бесчисленная рать,
и горожане не могли свой город отстоять.

15. Но жил в том городе мудрец, незнатный и бедняк,
который обманул врага, и отступился враг.

А тот, как был, остался нищ, не ведом никому,
хотя весь город уцелел благодаря ему.

16. Ибо на мудрость бедняка — хоть силу превзошла —
народ с небрежностью глядит, и в этом много зла.

17. Негромок голос мудреца, но лучше слышен он,
чем властелина гневный крик, что к глупым обращён.

18. Орудий воинских сильней премудрость может быть,
но кто не разобрался в ней – всё может погубить.

Глава 10

1. Испортить масел дорогих благоуханный дух
нетрудно, если бросить в них хоть пару дохлых мух.

Так всё достоинство и честь большого мудреца
страдает из-за одного неумного словца.

2. Несходны умный с дураком в стремлении сердец:
мудрец направо повернёт – налево прёт глупец;

3. захочет что-то предпринять – всё сделает не так,
и каждый встречный будет знать, что перед ним дурак.

4. Когда начальник на тебя набросится как лев,
не вздумай место покидать и прятаться сробев,
но кроток будь – и отойдёт начальствующий гнев.

5. Бывает, что властитель сам погрешность совершит,
И породит немало зла и множество обид.

6. Глупцы тщеславны: лестны им и высота, и власть;
но низко мудрые сидят, чтоб больно не упасть.

7. Пешком идущие князья порой встречались мне:
они достойнее рабов, сидящих на коне.

8. Кто роет яму для других, тот сам и будет в ней.
И кто ограду разберёт, того ужалит змей.

9. Смотри, чтоб камни громоздя, не надсадить себя
и не пораниться от дров, секирой их рубя.

10. Когда топор ты затупил – немедля заостри:
не напрягай напрасно сил, а мудростью бери.

11. Заговорить змеи укус смогла б ворожея,
но жало злоязычных уст опасней, чем змея!

12. В речах разумных – благодать, приятно слушать их;
а изречения глупцов вредны для них самих.

13. Начало слов их – болтовня, конец – безумный бред,

14. и нету смысла в их речах, лишь суета сует.

15. Любая мысль им тяжела, и в тягость каждый труд:
дороги в город из села – и той не разберут.

16. Несчастлива та страна, чей царь царит с незрелых лет
и чьи князья спешат с утра усесться за обед!

17. Но благо той стране, чей царь годами умудрён,
и много лет старинный род удерживает трон;

князья же вовремя едят, чтоб силы подкрепить,
а не затем, чтоб языку и чреву угодить!

18. Когда по лености свой пренебрежешь трудом —
обвиснет в доме потолок и протечёт весь дом.

19. Приятно сесть за добрый пир в забвении сует,
и вволю пить — ведь без вина веселья в жизни нет, —
и сладко есть — пусть серебро за всё несёт ответ!

20. Не поминай богатых злом и в комнате твоей,
а уж злословить о царях и мысленно не смей:
и птицы могут передать им суть твоих речей!

Глава 11

1. Излишний хлеб не сберегай, не будучи в нужде,
а неимущему отдай: пусти как по воде,
и он вернётся, когда сам окажешься в беде.
2. Семи, восьми давай их часть: не знаешь ведь, когда,
какая и на сколько лет придёт к тебе беда.
3. Когда набухнут облака, то дождь земле дадут.
И древа будут так лежать, как наземь упадут.
4. Тому, кто на́ небо глядит, — полей не засеивать.
И кто за ветрами следит — тем не придётся жать.
5. Как ты не знаешь ветра путь — откуда и куда —
и как во чреве матерей проходит жизнь плода,
так и Господних дел познать не сможешь никогда.
6. С рассвета сей или паши, хлеб добывая свой,
и на закате не спеши давать руке покой:

ведь никому не ведом час, когда его труды
удачней будут и дадут хорошие плоды.
7. Приятен сердцу ясный день и сладок солнца свет.
8. И если человек живёт под ним и много лет,

пусть веселится он все дни, что дал ему Творец,
но помнит: коротки они, и им придёт конец.

И будет много тёмных дней без чувства и ума,
там, где ни света, ни теней, а только тлен и тьма.

9. Пока ты молод – веселись и радости вкушай;
влеченьем сердца и очей дороги выбирай.

Пусть наслаждения тебе молодые дни несут,
хоть и потребует за них ответа Божий суд.

10. И удали печаль лица в свои молодые дни;
от сердца, тела и души всё злое уклони,

ибо дни юности твоей от самых детских лет —
томленье духа и тщета, и суета сует.

Глава 12

1. И помни Бога твоего в дни юности твоей,
покуда жизнь не принесёт других, тяжёлых дней,
и скажешь ты про эту жизнь: «Нет радости мне в ней»;

2. покуда светел солнца луч и звёздам нет числа,
и дождь прошёл, и новых туч гроза не принесла...

3. Но будет день, когда дрожит и пёс сторожевой;
когда согнётся сильный муж, поникнув головой,

и перестанут жернова журча молотить зерно,
и омрачатся лица тех, кто выглянет в окно;

4. и дверь на улицу запрут, и голос станет глух,
и человека поутру начнёт будить петух,
и смолкнут песни юных дев, ласкающие слух.

5. И убоятся высоты и ужаса дорог,
и зацветёт миндаль, когда ему наступит срок;
кузнечик станет тяжелей, и каперс под кустом
рассыплется — а человек уйдёт в свой вечный дом.

6. Уже и плакальщицы ждут под окнами — пока
его серебряная цепь ещё не порвалась,
не разлетелся в черепки кувшин у родника,
и над колодцем колесо не обвалилось в грязь,

и ткань повязки золотой не расползлась на швах...

7. И человек, как прахом был, так и вернётся в прах,
и дух, что дал ему Господь, вновь Господу отдаст.

8. Всё в мире — суета сует, сказал Экклезиаст.

9. *Кроме того, что Экклезиаст был мудр, он учил ещё народ знанию, он всё испытывал, исследовал и составил много притчей.**

10. *Старался Экклезиаст приискивать изящные изречения, и слова истины написаны им верно.*

11. Как иглы – мудрые слова, как вбитый в древо клин, но в мире много мудрецов, хоть Пастырь их – един.

12. А что сверх этого всего – того беги, мой сын:

Ведь если книги составлять – не будет им конца!

А чтение утомляет мозг незрелого юнца.

13. Итак, вот суть всего: в душе Господний страх храни; заветы Бога выполняй во все земные дни.

Благой ли, злой ли жизнь была, нас тайны не спасут,

14. И мы за все свои дела пойдём на Божий суд.

Мюнхен, декабрь 1998 г. – январь 1999 г.

* Стихи №№ 9 и 10, вставленные составителями библейской Книги, даны в каноническом переводе. – Э. Левин.

ДЕКАМЕРОН
ПЕРЕВОДЧИКА

КРАТКОЕ МЕЖДУСЛОВИЕ

Заканчивая этот «отчёт» о своём многолетнем, хотя и малопродуктивном хобби — переводах стихов, — хочу дополнить его некоторыми комментариями.

Они касаются тех переводов европейской поэзии, которые сделаны в порядке так называемого «посильного улучшения» и иногда имеют довольно забавную историю — надеюсь, что и интересную.

Называю этот последний раздел «Декамероном переводчика» без всяких претензий, единственно потому, что он случайно содержит ровно десять отдельных новелл.

НОВЕЛЛА I ОБИДЕЛИ ТУВИМА!

Оттепель после смерти Сталина началась в Польше раньше, чем в Союзе — ещё до пресловутого XX съезда КПСС. Однажды мне, тогда ещё студенту Белорусского политехнического института, попался на глаза польский сатирический журнал «Шпильки», на обложке которого красовалась уходящая за горизонт ухабистая дорога, перегороженная многочисленными шлагбаумами. На каждом из них — указатель: «Объезд вправо» или «Объезд влево» — и соответствующие петли дороги. Подпись под рисунком гласила: «Droga do socjalizmu w parawie» («Дорога к социализму на ремонте»).

Подобную смелость советский «Крокодил» вряд ли позволит себе и через тридцать лет! Я пришёл в восторг и бросился изучать польский. Навыписывал себе кучу польских газет и журналов, привлёк на помощь мужа моей кузины, чистокровного шляхтича, и вскоре вполне прилично читал на этом прекрасном языке.

В 1957 году мне удалось купить пятитомник Ю. Тувима (изд. «Чытэльнік», Краков, 1955), и в первом томе, на с. 187, я прочёл прелестное стихотворение «Бросил бы я всё это...». Стихи не только очень милые, но и очень лёгкие для перевода. Размер идеально соответствует настроению и без всяких усилий сохра-

няется по-русски, можно перевести почти буквально! Но мне тогда и в голову не пришло этим заниматься: стихи и так остались в моей памяти как бы в русском звучании. Прочтите сами – и вы в этом убедитесь! (см. с. 64). Ну а если вы уж совсем «ни в зуб ногой» польски, то представьте, как бы их прочитал поляк, который только-только освоил русскую грамматику, слов почти не знает и всё-таки пытается пересказать их «в ензыку российском»: те слова, которые знает, он говорит на ломаном русском, но ударения всё равно ставит свои, польские!

Вот что у него получилось бы (ударные гласные выделяю в неочевидных случаях жирным шрифтом):

ЖУТИЛ БЫМ ТО ВШИСТКО...

Жутил бым то вшистко, жутил бым од разу
Осядл бым есенью в Кутне люб Серадзу.

В Кутне люб Серадзу, в Раве люб Лэнчице,
В партэровом доме, при тихой улице.

Было бы там тепло, тесно, але мило,
Много бы се спало, часто бы се пило.

Там когуты ранком на оплотках пеют,
Там соседи добрые тыют и глупеют.

Пошелл бым до карчмы, уседл бым в кутику,
По тым, что не врутит, поплакал по-тиху.

Поболтал бым с тобой при ампулке вина:
«Ну и что ж, кохана, что ж, моя едина?»

Жаль ти забав, шуму, скучно по столице?
Нудишься тут, верно, в Кутне люб Лэнчице?»

Ниц бысь не отрекла, ниц, моя кохана,
Слухала бысь вихру в комине до рана,

И думала долго, в леку и тоскнице:
– Чэго он тут шука, в Кутне люб Лэнчице?

Года через два-три я приобрёл первый маленький сборничек Тувима на русском языке: «Вёсны и осени» (перевод с польского Д. Самойлова, Детгиз, М., 1959). В нём на с. 96 я увидел стишок под названием «Покинуть бы это...» Увидел – и просто остолбенел, как жена Лота! Вот что я там прочитал:

ПОКИНУТЬ БЫ ЭТО...

Покинуть бы это, однажды решиться
Осенним бы делом заехать в Ленчицу.
В Серадзе иль Раве, Ленчице иль Кутно

Нашёл бы домишко и зажил уютно.
Тепло бы там было, мы б печку топили,
И поздно бы спали, и сладко бы пили.
Там кочеты утром поют на заборах,
Соседи глупеют в пустых разговорах.
Пошёл бы в харчевню, засел в уголочек,
О том бы поплакал, чего не воротишь.
Тебе бы промолвил, винца наливая:
– Ну что, дорогая? Ну что, золотая?
Соскучилась, видно, грустишь по Варшаве?
Небось, надоело в Серадзе иль Раве?
А ты бы в ответ не сказала ни слова,
Всё слушала б жалобы ветра ночного,
И думала б долго, смежая ресницы:
– «Чего он здесь ищет, в Серадзе, в Ленчице?»

Я любил и уважал Давида Самойлова, но, прости-те... где же тут Тувим? Содержание передано вполне точно, но куда исчезли тувимовская грусть, лиричность, задумчивость? Вместо драматичного – на грани отчаяния – и жертвенного решения получился этакий бесшабашный воскресный выезд «на природу»; вместо тяжких раздумий – бездумность, вместо *любимой* и *единственной* – пошленькая *дорогая-золотая*, и откуда, наконец, вместо медлительного шестистопного хорей этот кавалерийский четырехстопный амфибрахий?!

Оправившись от первого шока и подавив столь характерное для советского человека «гневное возмущение» несправедливостью и обидой, которую причинили моему любимому поэту, я здраво поразмыслил и пришёл к следующей гипотезе.

Скорее всего, Д. Самойлов, не зная языка, работал по подстрочнику, составленному человеком, тоже недостаточно владеющим польским — во всяком случае, стихосложением. Этот человек, твёрдо усвоив себе, что в польском языке ударение *«всегда падает на предпоследний слог»*, сделал Самойлову «рыбу» (на профессиональном жаргоне так называется модель ритма), в которой первая строка была искажена ошибочным прочтением: дважды в слове *«rzuciłbym»* («бросил бы я») ударение поставлено по общему правилу на *i* (а нужно в данном случае на *u*)! То есть, эта самая «рыба» вместо своего естественного вида — например, такого:

Маленькая рыбка, где твоя улыбка? —

Раньше ты плясала, нынче же — не шибко...

приобрела несколько иную форму — например, такую:

Чего загрустила, весёлая рыбка? —

Вчера ты плясала, а нынче — не шибко!

«А дальше, — сказал, по-видимому, этот горе-рыбак Давиду Самойловичу, — всё повторяется снова, и так до конца». Тот поверил и честно... изуродовал всё настроение стиха своим лихим амфибрахием.

Перевести эти стихи заново было делом десяти минут (см. с. 61 этой книжки). Тем не менее, парижский профессор Е. Г. Эткинд, большой авторитет по части переводов, отозвался об этой работе лаконично: «Тувим — прекрасен!»):

НОВЕЛЛА 2 РЕЙНСКАЯ ДЕВА

В годы послевоенного антисемитизма в Советском Союзе появился еврейский «самиздат». По рукам ходили стихи, смыслом которых было: «За что?! В чём же мы, евреи, виноваты?!» Маргарита Алигер в таких стихах писала:

Чем вы виноваты, Генрих Гейне?

И рифмовалось это со строкой:

Лорелея, девушка на Рейне...

Так я, ученик седьмого класса, никогда прежде не читавший Гейне, впервые услышал имя этой сказочной рейнской девы — феи, ведьмы или русалки. Имя было нежное, и она мне представлялась ангельским хрупким созданием в белом воздушном платье. Но только лет через десять я сам прочитал гейневские стихи о *Loreley* в переводе *Александра Блока*:

ЛОРЕЛЕЙ

Не знаю, что значит такое,
Что скорбью я смущён;
Давно не даёт покоя
Мне сказка старых времён.
Прохладой сумерки веют,
И Рейна тих простор.
В вечерних лучах алеют
Вершины дальних гор.

Над страшной высотой
Девушка дивной красы
Одеждой горит золотою,
Играет златом косы,
Златым *убирает гребнем.*
И песню поёт она:
В её чудесном пенье
Тревога затаена.

Пловец на лодочке малой
Дикой тоской полонит:
Забывая подводные скалы,
Он только наверх глядит.
Пловец и лодочка, знаю,
Погибнут *среди зыбей;*

И всякий так погибает
От песен Лорелей.

Некоторые выражения не показались мне удачными (они выделены курсивом), да и в целом стихи не очень впечатлили. Я получил некоторую информацию об этой Лорелее и о роде её занятий, а других положительных эмоций не припомню.

В апреле 1987 года мы с женой и дочкой возвращались на машине из Амстердама в Мюнхен. Путь лежал вдоль Рейна, по его живописной долине: «меж крутых берегов» и *прибрежных* (а вовсе не *дальних*, как у Блока!) лесистых гор со старинными замками. Естественно, нам вспомнилась сказка про Лорелею! Но напрасно мы глядели наверх, как бедный *пловец*. Лорелея сидит внизу, на длинном и узком островке посередине Рейна. У неё нет ни *косы*, ни *золотой одежды*: волосищи её распущены; она бронзовая, громадная и совершенно голая. В хрупкости и воздушности её тоже не упрекнёшь: это мрачная мускулистая дева в духе сталинского (или, что то же, гитлеровского) соцреализма.

В ближайшем замке, в сувенирном ларьке, мы купили открытку с её фотографией и текстом стихотворения Гейне, который я и привожу *на с. 22 этой книжки*.

Приехав домой и внимательно перечитав этот текст, я с нехорошим злорадством обнаружил, что и в нём также отсутствуют и *коса*, и *дальние горы*, и *золотая одеж-*

да, и уж, конечно, лодочник *будет проглочен волной*, а не погибнет загадочным образом среди безобидной речной *зыби*, как этот блоковский «*пловец на лодочке*» (даже не «*гребец*»)! Наверно, подумал я, схалтурил Блок – некогда ему было, что ли?..

Но больше я удивлялся по другому поводу: ну не мог ведь Блок так плохо знать немецкий язык!

Во-первых, почему он выражение «*ich so traurig bin*» (*мне так грустно*) перевёл словами «*скорбью душа смущена*»? Ведь *Traurig* (траурихь) по-немецки означает «печальный, грустный» (а «*Traurigkeit*» – печаль, грусть). Скорбь же или траур обозначаются словом «*Trauer*» (трауэр). Правда, при переходе из немецкого языка в русский это слово потеряло звук «э», и иной переводчик мог вполне спутать «траур» и «трауэр». Но не Блок же?!

Во-вторых, что это за загадка с золотой одеждой? Ведь немецкое слово «*Geschmeide*» (гешмайдэ) – это никакая не одежда, а ожерелье, нашейное женское украшение – в данном случае можно предположить, что оно (у дикой такой!) из золотых монет, вроде мониста.

Наконец, зачем он назвал свой перевод «Лорелей», если по-немецки было «Лорелай» (нормальное окончание женского рода!), а «Лорелей» по-русски звучит похоже на «Пантелей» или «Тимофей»? Когда же по ходу чтения выяснится, что речь идёт о девушке, и она автоматически переосмыслится в «Лоре-

лею», вдруг натыкаешься в конце на «*песни Лорелей*», и чудится, будто этих «лорелей» много, и поют они хором...

Короче, я тут же сел и сделал новый перевод (с. 23).

Позже, уже несколько заинтригованный, я прочитал ещё один перевод, который гораздо точнее блоковского (и, кстати, очень похож на мой!):

ЛОРЕЛЕЯ

Не знаю, что стало со мною,
Печалью душа смущена.
Мне всё не даёт покою
Старинная сказка одна.
Прохладен воздух. Темнеет.
И Рейн уснул во мгле.
Последним лучом пламенеет
Закат на прибрежной скале.

Там девушка, песнь распевая,
Сидит на *вершине крутой*.
Одежда на ней золотая,
И гребень в руке золотой.
И кос её золото вьётся,
И *чешет их гребнем* она,
И песня волшебная льётся,
Неведомой силы полна.

Охвачен безумной тоскою,
Гребец не глядит на волну,
Не видит скалы пред собою, —
Он смотрит туда, в вышину.
Я знаю, река, *свирепея*,
Навеки сомкнётся над ним,
И это всё Лорелея
Сделала пеньем своим.

Перевод Вильгельма Левика

Как видите, и у Левика фигурирует та же *золотая одежда!* «Одежда» — что за слово такое «инвентарное» для лирического стихотворения! Хоть бы как-то уточнил: сарафан ли это, платье, туника или мантия? Или джинсы?... Да и *вершина* вряд ли бывает крутая (как *гора* или *скала*): она или закруглённая или острая (тогда на ней сидеть не слишком удобно). И снова — *косы!* Мне представляется, что эта ведьмочка не стала бы заплетать косы, сидела бы распустёхой — как и её бронзовая статуя: всё же она не Гретхен! И кстати, как это возможно: *косы чесать гребнем?* Я, конечно, понимаю, что вместо коротенького словечка «*Haar*» не так уж легко втиснуть довольно громоздкое «*волосы*», но что же тут поделаешь! *Noblesse oblige!*

НОВЕЛЛА 3 ТЫ ЗНАЕШЬ ЛИ КРАЙ?

*Я — маленькая девочка,
Играю и пою.
Я Сталина не знаю,
Но я его люблю!
(Из советского «фольклора»)*

Что-то похожее было у меня с одним стихотворением. Ещё в школьные годы время от времени мне попадалась интригующая, невыразимо романтическая строчка откуда-то, а откуда и чья — я не знал, и никто мне не мог помочь:

Ты знаешь ли край, где лимоны цветут?...

«Да, слышал где-то, — отвечали мне. — А чьё — понятия не имею». И лишь в конце 50-х годов, изучив польский и читая в оригинале Адама Мицкевича, я вдруг с волнением обнаружил знакомые слова:

*Znasz-li ten kraj, gdzie cytryna dojrzewa,
Pomarańcz blask majowe żłoci drzewa?
Gdzie wieńcem bluszcz ruiny dawne stroi,
Gdzie buja laur i cyprus cicho stoi?...*

Стихотворение называлось «Wezwanie do Neapolu» и имело ещё подзаголовок: «Naśladowanie z Goethego» (подражание Гетэму, то есть Иоганну Вольфгангу фон Гете)! Но тщетно я копался в русских изданиях великого немца: ничего с похожим названием обнаружить не удалось...

В 1986 году, живя уже в Мюнхене, я снова вспомнил о стране цветущих лимонов и нашёл эти стихи по-немецки. Правда, нашёл не сразу: будучи полным профаном в германской классике, я знал из Гете лишь «Фауста» да пару хрестоматийных стишков, а спросить стеснялся. Поэтому искал в поэтических сборниках, а оказалось моё сокровище среди прозы! Оказалось, что это песня юной девушки по имени Миньон (или Миньона) из романа «Ученические годы Вильгельма Мейстера», и я тут же с жадностью перевёл её на русский язык! Причём, считая, что эти стихи вполне автономны, я позволил себе вырвать их из контекста романа и вместо «O Vater» в последней строке написал «O Боже». *(Оригинал и перевод см. стр. 16 и 17).*

Работой своей я остался доволен, но меня несколько беспокоило, что не удалось найти уже существующих русских переводов: а вдруг они гораздо лучше моего! Я взял в библиотеке Толстовского фонда Собрание сочинений Гёте (под ред. Петра Вейнберга, издание 2-е, СПб., 1894 г.) и прочёл в нём, в 3-й книге «Вильгельма Мейстера» перевод П. Н. Полевого:

ПЕСНЯ МИНЬОНЫ

Ты знаешь ли край, где лимонные рощи цветут,
Где в тёмных листьях померанец, как золото, рдеет,
Где сладостный ветер под небом лазоревым веет,
Где скромная мирта и лавр горделивый растут?
Ты знаешь ли край тот? Туда бы с тобой,
Туда бы ушла я, мой друг дорогой!

Ты знаешь ли дом? Позолотою яркой блестя,
На лёгких колоннах вздымается пышная зала;
Статуи стоят и глядят на меня с пьедестала:
«Дитя моё бедное! Что с тобой случилось, дитя?»
Ты знаешь ли дом тот? Туда бы с тобой,
Туда бы ушла я, возлюбленный мой!

Ты знаешь ли гору? Там в тучах тропинка видна;
Там мул себе путь пробивает в туманах нагорных;
Там змеи гнездятся в пещерах и пропастях чёрных;
Там рушатся скалы и плещет на скалы волна.
Ты знаешь ту гору? Туда бы с тобой,
Туда бы ушли мы, отец мой родной!

После этого я вроде успокоился, хотя других переводов (а их было более десятка!) так и не прочитал. Кроме одного тютчевского, который меня изрядно озадачил (выделяю курсивом некоторые места):

* * *

Ты знаешь край, где мирт и лавр растёт,
Глубок и чист лазурный неба свод,
Цветёт лимон, и апельсин златой
Как жар горит под зеленью густой?..
Ты был ли там? Туда, туда с тобой,
Хотела б я *укрыться*, милый мой.

Ты знаешь высь с *стезей по крутизнам?*
Лошак бредёт в тумане по снегам,
В ущельях гор *отродье* змей живёт;
Гремит обвал и водопад ревёт..
Ты был ли там? Туда, туда с тобой
Лежит наш путь Уйдём, властитель мой.

Ты знаешь дом на мраморных столпах?
Сияет зал и купол весь в лучах;
Глядят кумиры молча и грустя:
«*Что, что* с тобою, бедное дитя?»
Ты был ли там? Туда, туда с тобой
Уйдём скорей, уйдём, *родитель* мой.

Перевод Ф. И. Тютчева

НОВЕЛЛА 4 «ВЕРОЛОМСТВО»

Позвонил мне как-то приятель и говорит:

– А знаешь, я тоже попробовал переводить стихи.
Вот послушай:

Как гнусно себя повёл ты,
Я людям не говорил,
Я выехал в море и рыбам
Всю низость твою открыл.

На суше доброе имя
Ты носишь и до сих пор,
Но во всём океане
Знают про твой позор.

– Неплохо, – похвалил я. А как было в оригинале?
И вообще, откуда это?

– Это из Генриха Гейне. А в оригинале было так:

Wie schändlich du gehandelt,
Ich hab' es den Menschen verhehlet
Und bin hinausgefahren aufs Meer,
Und hab' es den Fischen erzählet.

Ich laß' dir den guten Namen
Nur auf dem festen Lande;
Aber im ganzen Ozean
Weiß man von deiner Schande!

– А почему, – спрашиваю, – ты решил, что он обращается к мужчине? Мне всё-таки кажется, что это любовная лирика. Наверно, она просто ушла к другому... «Сердце красавицы склонно к измене»!

– Из немецкого текста не видно, мужчина это или женщина. Помнишь, о Шекспире тоже спорили, кого он называет «моя любовь», девушку или юношу?

О'кей. Я это проверю...

И проверил: в десятитомнике Гейне (ГИХЛ, 1957 г., т. II, с.30) я нашёл эту миниатюру *в переводе С. Маршака*.

Она входила под номером 12 в цикл из 15 стихотворений «*Серафина*», то есть адресовалась, несомненно, девушке:

Как ты поступила со мною,
Пусть будет неведомо свету,
Об этом в пустынном море
Я рыбам сказал по секрету.

Пятнать твоё доброе имя
На твёрдой земле я не стану, –
Но слух о твоём вероломстве
Пойдёт по всему океану.

Нет никаких сомнений и в том, что «вероломство» её отнюдь не военно-политического свойства! Вначале, из первых трёх стихотворений этого цикла (они переведены Левиком и Ключевой) становится ясно: герой наш втюрился по уши:

Этот странный незнакомец —
Что он, глуп или влюблён?
То ликует и смеётся,
То грустит и плачет он.

Затем, в №4 (перевод В. Коломийцева) он, по-видимому, уже добился своего и гордо сообщает:

Что я любим, я знаю,
И знал уже давно...

Затем следует апофеоз взаимной страсти, но уже в стихотворении № 11 (а наше — № 12!) герой раздражается горькими упрёками:

Ты вероломным сердцем твоим
Коварнее ветра вдвойне.

Перевод М. Фромана

Забегая вперёд: позже я наткнулся ещё на один перевод, Петра Вейнберга, из которого выяснил две смешные детали: Во-первых, мой дружок «свой» перевод, похоже, списал с вейнбергского! Во-вторых, у Вейнберга герой чётко обращался к девушке, но приятель мой его «поправил» — видимо, для вящей научной объективности.

Как низко ты поступила,
Я людям не говорил:
Я вышел в открытое море
И рыбам тайну открыл.

На суше доброе имя
Ты носишь до сих пор,
Но на морском просторе
Знают про твой позор.

Перевод Петра Вейнберга

Как видите, выделенные курсивом слова и строчки у обоих одинаковы!

Но это я узнал позже, а во времена своего «исследования» лишь убедился, что был-таки прав: она изменщица! И всё-таки я задумался. Оба перевода — и Маршака, и моего приятеля — вполне хороши технически и точно передают содержание. Но... не убеждают. Вот,

будь я на месте героя, но только говорящего по-русски, — разве я, обращаясь к любимой (и питаю робкую надежду, что она ко мне ещё вернётся), употребил бы такие серьёзные выражения, как *пятнать доброе имя; низость, гнусность, позор, вероломство*? Боже упаси! Наверно, я бы уж ей налепетал чего-нибудь такого обиденно-детского... Вот я и взял «кугельшрайбер» и «налепетал»:

Ты сделала очень гадко,
Но я тебя людям не предал:
Я в море заплыл подальше
И рыбкам про всё поведал.

Так знай же: ты только на суше
Считаешься доброй и честной,
А в реках, морях, океанах —
Всё про тебя известно!

НОВЕЛЛА 5 СОСНА И ПАЛЬМА

*Ein Fichtenbaum steht einsam
Im Norden auf kahler Höh'.
Ihn schläfert; mit weißer Decke
Umhüllen ihn Eis und Schnee.*

*Er träumt von eine Palme,
Die fern im Morgenland
Einsam und schweigend trauert
Auf brennender Felsenwand.*

Это маленькое стихотворение Г. Гейне широко известно русским читателям в вольном переводе *М. Ю. Лермонтова*:

На севере *диком* стоит одиноко
На голой вершине сосна
И дремлет *качаясь*, и снегом *сыпучим*
Одета как *ризой* она.

И снится ей *всё*, что в пустыне далёкой —
В том крае, где солнца восход,
Одна и грустна на утёсе горячем
Прекрасная пальма растёт.

Написано красиво, хотя если бы она *качалась*, а снег был сыпучим, то вся *риза* давно бы исчезла. Но дело не в этом. Во-первых, все отмеченные курсивом украшения – добавлены. Язык Гейне – скупой и лаконичный: ни одного лишнего слова. Во-вторых, по-немецки *Fichtenbaum* – мужского рода, а по-русски и сосна, и пальма – девицы, что придаёт эротическим снам первой не совсем естественное звучание. В-третьих, без нужды изменён стихотворный размер (впрочем, это допустимо: перевод-то вольный!). Но мне хотелось приблизиться к оригиналу, и я всё это убрал.

Получился «почти Гейне», хоть и не так красиво:

На севере кедр одинокий
На голой вершине стоит.
Он спит, убаюкан метелью,
Снегами и льдами укрыт.

И снится ему, что на юге,
В далёкой и жаркой земле
Грустит одинокая пальма,
На выжженной голой скале.

Вскоре, однако как и следовало ожидать оказалось, что не я один такой «вумный» нашёлся. Старик Пётр Вейнберг, на редкость добросовестный переводчик, давным-давно обнаружил у Лермонтова этот «лесбийский

нюанс» и заменил сосну дубом (пальму, правда, сохранил — не польстился на тонкую рябину):

На северной голой вершине
Дуб одинокий стоит.
Он дремлет — и льдом, и снегами,
Как *саваном белым, покрыт*.

И *бедному* грезится пальма,
Что в дальней восточной земле
Нема, одинока, горюет
На солнцем сожжённой скале.

Перевод Вейнберга оказался почти близнецом моего, и оба они очень близки к оригиналу. Его перевод даже несколько ближе: во-первых, он не выбросил слова *schweigend* (*молча, безмолвно*), хотя краткое прилагательное *нема*, по-моему, не вполне благозвучно (вместо «*нема, одинока*», не лучше ли читалось бы «одна и безмолвна»?). Во-вторых, *Morgenland, утренняя страна* — конечно, это восточная страна, как у него, а не южная, как у меня. Но всё-таки мой перевод мне больше нравится. И вот почему.

1. Не *ризой*, так *саваном* — хрен редьки не слаще! Если уж этот дуб покрыт саваном, так он наверняка «дал дуба»! Живой, спящий был бы *укрыт* (а не *покрыт!*) чем-нибудь другим, а у покойника какие могут быть

эротические сны! Да и слово немецкое «*Decke*» – это просто одеяло, покрывало, скатерть, вообще покров. Я бы ещё мог согласиться с периной, все ведь знают, что немец обожает под ней спать:

Он дремлет, снегами и льдами
Как белой периной укрыт...

2. И бедному грезится пальма... С чего же это он такой бедненький? Дремлет себе под периной, бабы снятся...

Мужскую солидарность, что ли, Вейнберг ему выражает?

3. *Горюет* – гораздо хуже, чем *грустит*, *тоскует* или даже *кручинится*: горюют обычно об утраченном, а не о желаемом, но несбыточном.

4. Формально переводя, гейневский *Morgenland* и в самом деле надо было бы считать востоком: Так уж по традиции именуют весь этот пальмовый арабский мир (даже Марокко, хотя географически это явный запад!). Но по-русски «восток» не звучит! По-русски «страна восходящего солнца» – это Япония, а пальмы и сожжённые солнцем скалы – это «жаркий юг». А главное – у Гейне в основе антитеза: *сосна (дуб, кедр) – и пальма; снега, льды – и выжженная скала; север – и...* конечно же, юг, а не восток! Это как раз тот случай, когда точный перевод хуже неточного.

Не могу удержаться от любимого примера.

Прекрасная переводчица Ремарка, ныне покойная Алиса Берман редактировала «Время жить и время умирать». В одном эпизоде там солдат-фронтовик жалуется после отпуска, что его жена, прежде весьма дородная, побывав в концлагере, ужасно похудела: «вместо зада две жалкие горошины».

И Алиса твёрдой рукой поправила автора: вместо «горошины» вписала «фасолины».

НОВЕЛЛА 6 УМЕРЕТЬ ЗА ДРЕВНИХ ГРЕКОВ

В книжке переводов С. Я. Маршака я прочитал когда-то «Стансы» Джорджа Гордона Байрона:

Кто драться не может за волю свою,
Чужую отстаивать может.
За греков и римлян в далёком краю
Он буйную голову сложит.

За общее дело борись до конца,
И будет тебе воздаянье.
Тому, кто избегнет петли и свинца,
Пожалуют рыцаря званье.

Стихотворение технически безукоризненное, но не очень понятное. Если греки ещё как-то связываются с биографией лорда Байрона, то при чём же тут римляне? Они ведь древние, и в каком же это «далёком краю» можно было сложить за них голову в XIX веке? Разыскав оригинал, я понял, что Самуил Яковлевич, гениальный версификатор, в этом случае грубо схалтурил. Сравнив перевод и подлинник, я обнаружил:

1. Первые две строчки полностью утратили байроновскую насмешливость и остроумие. В оригинале в них был потешный, хотя и почти непереводаемый каламбур: если уж

ты такой борец за свободу, а дома у тебя *нет свободы*, за которую ты бы мог сражаться, так езжай и дерись за свободу других народов (*у которых её тоже нет, и ты, следовательно, сможешь за неё побороться*)! Чисто английский юмор!

When a man hath no freedom to fight for at home,
Let him combat for that of his neighbours;

(дословно: «Если человек не имеет свободы, за которую мог бы бороться у себя дома, то позвольте ему сражаться за таковую для своих соседей»).

2. Во вторых двух строчках Байрон отнюдь не пророчил своему герою гибель за греков и римлян, а всего лишь иронически предлагал ему вдохновляться их былой славой:

Let him think of the glories of Greece and of Rome
And get knocked on the head for his labours.

(дословно: «Позвольте ему думать о славе Греции и Рима и получать по голове за свои старания»).

3. И вторая строфа:

To do good to Mankind is the chivalrous plan,
And is always as nobly requited;
Than battle for freedom whenever you can,
And if not shot or hanged, you'll get knighted.

То есть: «Деяния во благо Человечества — это благородное устремление, и оно всегда достойно вознаграждается; так что воюй за свободу, когда только можешь — и если тебя не застрелят и не повесят, то возведут в рыцари». Эту строфу Маршак, как видите, перевёл безукоризненно.

Свой перевод (см. с. 15) я сделал без претензий — не особенно стараясь и не претендуя на качество, лишь уточнил смысл и попытался вместо маршаковского пафоса восстано-вить байроновский скептицизм и иронию.

Много позже я прочёл ещё один перевод — Т. Гнедич:

Если дома стоять за свободу нельзя,
То соседей свободу спасайте!
Славу греков и римлян храните, друзья,
И в боях тумачи получайте!

Добрый рыцарский подвиг высок и хорош,
Так дерись же всегда за свободу!
Если ты не в тюрьме и не в петле умрёшь,
Вознесут твоё имя народы!

Этот перевод точнее маршаковского по смыслу, но технически он гораздо хуже. Например, последняя строчка явно выбивается из байроновского сарказма в тот же пафос, а предпоследняя вообще безграмотна: вместо авторского «если не умрёшь в тюрьме или петле,

то тебя возведут в рыцари» у Татьяны Гнедич получилось совсем другой смысл: «если умрёшь, но не в тюрьме и не в петле» (а как-то иначе – скажем, от дизентерии, что ли?), то тебя прославят...

Видел я и другие переводы. Но все они, включая мой, гораздо слабее байроновского оригинала. Увы, мне не хватило спортивного азарта, чтобы продолжать работу...

НОВЕЛЛА 7 СОНЕТ ШЕКСПИРА

Как уже сказано в предисловии, первым объектом моей ревизионистской деятельности в области классических русских переводов стал лет сорок пять назад знаменитый Сонет № 66 Вильяма Шекспира (*см. на с. 10*).

Вот этот сонет в переводе С. Я. Маршака в первом переводе, который я прочитал:

Зову я смерть. Мне видеть нестерпим
Достоинство, что просит подаянья,
Над простотой глумящуюся ложь,
Ничтожество в роскошном одеянии,

И совершенству ложный приговор,
И девственность, поруганную грубо,
И неуместной почести позор,
И мощь в плену у немощи беззубой,

И прямоту, что глупостью сльвёт,
И глупость в маске мудреца, пророка,
И вдохновения зажатый рот,
И праведность на службе у порока.

Всё мерзостно, что вижу я вокруг...
Но как тебя покинуть, милый друг!

Привыкшему к советской гневной «гражданственности», мне эти стихи тоже нравились своей «боевитостью и нетерпимостью», хотя именно от слова *невтерпёж* я и поморщился.

Я не сомневался, что и сам Шекспир звучал столь же патетически. Но всё же разыскал подлинник и с помощью приятеля, окончившего «Иняз» и знакомого со староанглийским языком, составил себе подстрочный перевод, который изображён *на с. 11*.

Скрупулёзно сравнив этот подстрочник с переводом С. Я. Маршака, я предъявил последнему ещё ряд претензий:

- Неточен последний стих (*Но как тебя покинуть, милый друг!*). Жалко расставаться, что ли? И ещё этот игривый мопассановский «*милый друг*», шер ами...
- Почему *Достоинство* так «недостойно» *просит подаянья*? Причуда какая-то или шутка? Не сказано ведь, что достойного человека угораздило родиться бедняком.
- *Над простотой глумящуюся ложь... И прямоу, что глупостью слывет...* — почти тождественные строчки заняли два места, и одна из шекспировских мыслей просто не влезла.
- *И совершенству ложный приговор... и неуместной почести позор* — звучные, но малопонятные, какие-то ложно-многозначительные

слова — и это у Маршака, который славился своими чеканными формулировками! А у Шекспира ведь мысли очень простые, и изложены они без всякого обличительного пафоса, скорее грустно и меланхолично...

- *И глупость в маске мудреца, пророка...* Ну, всё-таки не столько *пророка*, сколько скучного и самодовольного наставника-попечителя (*doctor-like*).
- *И праведность на службе у порока.* Опять же: а почему? Если добровольно — это и противоестественно, и бессмысленно. В подлиннике-то Зло *силой* захватило Добро в плен и *силой* же заставило прислуживать себе!
- Сентенции Шекспира изложены *не все* и переставлены в произвольном порядке.

Пытаясь исправить всё это, я (если не ошибаюсь, в 1962 году) и сделал свой первый перевод *вариант 1*, который представлен вам на с. 12.

Получилось ближе к подлиннику, все строчки расставлены по местам, а две заключительные не только разжёваны до полной ясности, но даже «морально превзошли» оригинал: Шекспир не может бросить свою любовь *в одиночестве*, а я ещё сверх того (реализуя свободы переводчика) испытываю глубокие угрызения совести при мысли, что она останется *в этом страшном мире*.

Правда, позже я вместо «как я в рай *войду*» (то есть «как я посмею, с какими глазами!?)» вставил «*уйду*», поскольку не все читатели поняли, что «*рай*» означает просто «*смерть*» при такой *адской жизни*, и спрашивали меня: «А почему он так уверен, что попадёт именно в рай?»

И всё же влияние стиля Маршака (или тогдашних решительных манер советского человека) на этот мой перевод явно чувствуется: торжественная высокопарность превалирует над грустной шекспировской простотой...

Сменилась власть, стали снова издавать Б. Пастернака, и я прочёл Шестьдесят Шестой Сонет в совсем ином виде:

Измучась всем, я умереть хочу.
Тоска смотреть, как мается бедняк,
И как шутя живётся богачу,
И доверять, и попадать впросак,

И наблюдать, как наглость лезет в свет,
И честь девичья катится ко дну,
И знать, что ходу совершенствам нет,
И видеть мощь у немощи в плену,

И вспоминать, что мысли заткнут рот,
И разум сносит глупости хулу,
И прямодушьё простотой слывёт,
И доброта прислуживает злу.

Измучась всем, не стал бы жить и дня,
Да другу трудно будет без меня.

Вот она, благородная простота! Но... не шекспировская, а такая знакомая пастернаковская, нарочито-разговорная, доведенная до другой крайности, противоположной маршаковскому эффектному обличительному пафосу!

Отступлений от подлинника так много, что очень трудно признать это прекрасное *стихотворение Бориса Пастернака* переводом из Шекспира. И всё же этот его тон, это отчаяние измученного жизнью человека, этот вздох тоски вместо любимого советским искусством «гневного протеста» — заставили меня признать: это — прекрасный перевод! Гораздо лучше, чем у Маршака.

Разумеется, мне сразу же захотелось сделать что-то похожее, но — без всяких претензий на самовыражение. Как можно ближе к оригиналу! Даже двумя заключительными строчками первого варианта (которые многим очень нравятся) я решил пожертвовать и перевести Шекспира почти дословно.

Получился *вариант 2 (см. с. 13)*.

Не скрою: мне самому этот второй перевод нравится — во всяком случае, больше, чем первый. Все шекспировские обличения переданы довольно точно и расставлены строго по своим строчкам; слова и рифмы — простые и незатейливые. Кроме того, удалось подбором словесных пар подчеркнуть антитезы, на которых строится Сонет:

благородный — хам;
нищета (жизни) — нищета духа;
доверие — коварство;
почести — бесчестным;
дарованье — бездарь... и т. д.

И всё-таки, готовя книжку, я включил в неё первоначально лишь один перевод, некую помесь: второй вариант с резюмирующей концовкой из первого. Видимо, во мне, старом диссиденте, проснулся конформист: так, мол, народу больше нравится...

Через несколько лет после второго варианта (впрочем, я сделал их ещё пару штук) мне принесли сборник «Мастерство перевода» со статьями А. Финкеля и А. Якобсона именно о 66 сонете в русских переводах. Там, кроме Пастернака (1940) и Маршака (1947), разбирались ещё четыре более ранних перевода. Приведу их здесь, не комментируя, только выделю курсивом наиболее сомнительные, по моему мнению, (а честно говоря, так и почти нечленораздельные) «красоты».

Начнём с *Н. Гербея (1880)*:

В усталости моей я жажду лишь покоя!
Как видеть тяжело достойных в нищете,
Ничтожество в тиши вкушающим благое,
Измену всех надежд, обман в святой мечте,

Почёт среди толпы, присвоенный неправо,
Девическую честь, растоптанную в прах,
Клонящуюся мощь пред роком величаво,
Искусство, свой *огонь влачащее* в цепях,

Низвергнутое в грязь *прямое* совершенство,
Учёность пред судом надменного осла,
Правдивость, *простоте сулимую в блаженство,*
И доброту души в служении у зла!

Всем этим утомлён, я бредил бы могилой,
Когда бы не пришлось тогда *растаться с милой.*

Следующий перевод сделал *Ф. Червинский (1904)*:

Тебя, о смерть, тебя зову я, утомлённый.
Устал я видеть честь низверженной во прах,
Заслугу – в рубище, невинность – осквернённой,
И верность – преданной, и *истину в цепях.*

Глупцов, гордящихся лавровыми венками,
И *обесславленных, опальных мудрецов,*
И *дивный дар небес, осмеянный слепцами,*
И *злое торжество пустых клеветников.*

Искусство – робкое пред деспотизмом власти,
Безумья жалкого надменное чело,

И силу золота, и гибельные страсти,
И Благо – пленником у *властелина Зло*.

Усталый, льнул бы я к блаженному покою,
Когда бы смертный час не разлучал с тобою.

Далее – *О. Румер (1947)*:

Я смерть зову, глядеть не в силах боле,
Как гибнет в нищете достойный муж,
А негодяй живёт в красе и холе;
Как *топчется* доверье чистых душ,

Как целомудрию *грозят позором*,
Как почести мерзавцам воздают,
Как *сила никнет перед наглым взором*,
Как всюду в жизни торжествует плут,

Как над искусством произвол глумится,
Как правит недомыслие умом,
Как *в лапах Зла мучительно томится*
Всё то, что называем мы Добром.

Когда б не ты, любовь моя, давно бы
Искал я отдыха под сенью гроба.

И на закуску – особенно впечатляющий перевод!

М. Чайковский (1914):

*Томимый этим, к смерти я взываю;
Раз что живут заслуги в нищете,
Ничтожество ж, в весельи утопая,
Раз верность изменяет правоте,*

*Раз почести бесстыдство награждают,
Раз девственность вгоняется в разврат,
Раз совершенство злобно унижают,
Раз мощь хромые силы тормозят,*

*Раз произвол глумится над искусством,
Раз глупость знания принимает вид,
Раз здравый смысл считается безумством,
Раз что добро в плену, а зло царит, —*

*Я утомлённый жаждал бы уйти,
Когда б тебя с собой мог унести!*

Обратите внимание на перевод последнего двустопного, самого главного в сонете: в нём вся его «соль».

Шекспир говорит: «Этот мир мерзок и страшен, жить в нём мучительно, желание смерти — понятно, но эгоистично: нужно жить ради любимого человека (всё равно, женщины, мужчины ли), ибо бесчеловечно оставлять его одного...» (я педантично добавляю: «...среди

этой мерзости». А что же говорит нам М. Чайковский? И не стыдно ему?

Впрочем, некая «фигура умолчания» в последнем двустихии присутствует у всех, кроме Пастернака: Гербель бредил бы могилой, *когда бы не пришлось ему проститься с милой*. Червинский льнул бы к смертному покою, *«когда бы смертный час не разлучал с тобою»*. И Румер бы тоже умер, *«когда б не ты, любовь моя»*. Запретила она ему вешаться, что ли? И даже Маршак, хоть он и вздыхает: *«Но как тебя покинуть, милый друг»* (а в прежних изданиях было: *«Но жаль тебя покинуть, милый друг»*) — даже и Маршак вроде озабочен не тем, что *«другу трудно будет без меня»* (как у Пастернака), а тем, что *«мне будет трудно без друга»!* Но Чайковский явно перещеголял всех...

Несколько раз за 30 лет я проделывал эксперимент (последний раз в мюнхенской «Литературной гостиной» 26.12.1997): я предлагал десятку-двум средне подготовленным любителям поэзии сравнить и оценить все эти восемь переводов (*не называя авторов!*). Мне бы хотелось быть скромнее, но... подавляющее большинство участников ставило на первое место мой перевод; редко кто — перевод Пастернака. Я сначала удивлялся: почему не Маршака, который в Союзе был известнее и вроде больше отвечал вкусам масс?

Но потом я выяснил, что *все* присудившие первенство Б. Пастернаку, знали заранее, какой именно из вось-

ми переводов принадлежит ему, «более престижному»! Видимо, в менее просвещённой аудитории победил бы всё-таки Маршак.

P. S. Предложив эти новеллы московскому издателю и поэту-переводчику Евгению Витковскому, я узнал, что (цитирую его письмо 1999 года) «последнее время сонеты Шекспира выходят в новых переводах каждую неделю, и покупатели объелись».

И всё же я не почувствовал себя эпигоном: я ведь переводил его сорок лет назад, а не «в последнее время».

НОВЕЛЛА 8 ТРОЕ БУДРЫСОВ

Эта романтическая «литовская баллада» — одна из самых известных баллад Адама Мицкевича (или, если угодно, Мицкявичюса — его называли Певцом Литвы, и он по праву составляет гордость обоих народов) — написана в конце 1827 — начале 1828 года. Старый во-яка Будрыс во времена Великого Княжества Литовского, в середине XIV века, отправляет троих сыновей в три набега на соседские племена: русских, немцев и поляков. Одному он пророчит добычу в виде новгородских соболей, второму — «остзейский» янтарь, а третьему — польскую красавицу-пленницу в жёны. Но в конце концов все трое возвращаются с невестами-польками.

28 октября 1833 года в Болдино А. С. Пушкин сделал вольный перевод баллады, в котором она и известна большинству русских читателей. У Пушкина она называется несколько иначе: «Будрыс и его сыновья» (действительно, вместе с отцом их уже не трое, а четверо). По мнению одних литературоведов, Александр Сергеевич пользовался французским подстрочником; по мнению других — уже хорошо знал польский и мог обойтись без подстрочника. Об этом, в частности, писал в докторской диссертации литовский писатель и литературовед Томас Венцлова («Неустойчивое равновесие, восемь

русских поэтических текстов», изд. Йельского университета, 1986 г.).

Мне как читателю, владеющему обоими языками, кажется в высшей степени справедливым, что Пушкин назвал свой перевод «вольным»: очень уж много в нём вольностей — и поэтических, и смысловых (обратите внимание на выделенные курсивом места). Но, не зная этого, я долгое время считал пушкинский перевод идеальным — пока не прочёл Мицкевича в оригинале (*см. с. 42*).

Напомню, как звучит пушкинский перевод баллады, наверняка с юных лет знакомый российским читателям:

БУДРЫС И ЕГО СЫНОВЬЯ

Три у Будрыса сына, *как и он, три литвина.*

Он пришёл толковать с молодцами.

«*Дети! Сёдла чините, лошадей проводите,*

Да точите мечи с бердышами.»

Справедлива весть эта: на три стороны света

Три замышлены в Вильне похода.

Паз идёт на поляков, а *Ольгерд* на пруссаков,

А на русских *Кестут* воевода.

Люди вы молодые, силачи удалые

(Да хранят вас литовские боги!),

Нынче сам я не еду, вас я шлю *на победу*;
Трое вас, вот и три вам дороги.

Будет *всем по награде*: пусть один в Новеграде
Поживится от русских добычей.
Жёны их, как в окладах, в драгоценных нарядах,
Домы полны; богат их обычай.

А другой от пруссаков, от проклятых крыжаков,
Может много *достать дорогого*,
Денег с целого света, сукон яркого цвета;
Янтаря — что песку там морского.

Третий с Пазом на ляха пусть ударит без страха;
В Польше мало богатства и блеску,
Сабель взять там не худо; но, уж верно, оттуда
Привезёт он мне *на дом* невестку.

Нет на свете *царицы* краше польской девицы.
Весела, что котёнок у печки,
И как роза румяна, а бела, что сметана;
Очи *светятся*, будто две *свечки*!

Был я, дети, моложе, в Польшу *съездил* я тоже
И оттуда привёз себе жёнку;
Вот и век доживаю, а всегда вспоминаю
Про неё, как гляжу в ту сторонку».

Сыновья с ним простились и в дорогу пустились.
Ждёт, пождёт их старик домовитый.

Дни за днями *проводит*, ни один не приходит.
Будрыс думал: уж, видно, убиты!

Снег на землю валится, сын дорогою мчится,
И под буркою ноша большая.
«Чем тебя *наделили*? что там? *Ге! Не рубли ли?*» —
«Нет, отец мой; полячка младая».

Снег пушистый валится, всадник с ношею мчится,
Чёрной буркой её покрывая.
«Что под буркой такое? Не сукно ли цветное?» —
«Нет, отец мой; полячка младая».

Снег на землю валится, третий с ношею мчится,
Чёрной буркой её прикрывает.
Старый Будрыс *хлопочет* и спросить уж не хочет,
А гостей на три свадьбы сзывает.

Давайте попробуем вместе с вами сравнить пушкинский перевод с оригиналом Адама Мицкевича. Чтобы сделать это удовольствие доступным читателю, не владеющему польским языком, и дать ему представление о том, как звучала баллада в подлиннике, я позволил себе соответствующим образом «адаптировать» польский текст.

Заменяв польские буквы русскими, я одновременно приблизил написание к русским правилам: изменил гласные и падежные окончания, заменил носовые гласные обычными (или с добавлением согласных «н» или «м»); вставил «ь» там, где он ставится по-русски, и т. д. Если вы к тому же будете помнить, что ударение почти всегда на предпоследнем слоге (а если стоят рядом два односложных слова, как, например, «*як сам*» — то на первом из них), — уверяю вас: даже не зная языка, вы прочтёте подлинник Мицкевича почти как по-польски! Если вам этого мало, и вы хотите не только читать, но и понимать хоть приблизительно, то имейте в виду, что в польском тексте буквы «ж» или «ш» часто пишутся там, где в русском стоит буква «р»; буква «у» иногда заменяет русское безударное «о» (например, *сынув*, литвинув), а «ў» (т. е. у *краткое*) читается, как английское «w».

Итак, читаем ещё раз первую строфу пушкинского текста:

Три у Будрыса сына, *как и он, три литвина.*
Он пришёл толковать с молодцами.
«Дети! Сёдла чините, лошадей проводите,
Да точите мечи с бердышами»...

Остановимся здесь и зададим себе вопрос: зачем нужно было подчёркивать то, что само собой понятно:

что у отца и сыновей общая национальность?! Неужели так было и у Мицкевича? Ничего подобного! У него было вот как:

Стары Будрыс тжех сынув, *тэнгих як сам* Литвинув,
На дединец *пшызыва* и жече:
«Выпровадьте *румаки* и нажондьте кульбаки,
А выостшыте и гроты, и мече»...

(Старый Будрыс троих сыновей,
могучих, как сам он, литвинов,
На (свой) двор *призывает* и молвит:
«Выведите *аргамаков* и *наложите* сёдла,
Да наточите и копья, и мечи.)

Теперь всё ясно! Оказывается, все четверо — *могучие* богатыри, а не только «*все — литвины!*» И «*детьми*» своих сыновей Будрыс не называет, как маленьких; и в то же время не он к ним *пришёл толковать*, заискивая перед *молодцами*, а они сами явились к нему на двор, послушные зову патриарха. И сёдла у них ни в какой *починке* не нуждаются! И боевые *кони* (а не рабочие *лошадки*) в полной готовности: их и «*проводить*» не нужно (тем более *перед* скачкой, а не *после* неё!), а только *вывести* на двор! Короче, это вам не детский сад с заботливым папашей, а четыре грозных воина.

Куда же снаряжает Будрыс своих сыновей? У Пушкина он говорит им так:

*Справедлива весть эта: на три стороны света
Три замыслены в Вильне похода.
Паз идёт на поляков, а Ольгерд на пруссаков,
А на русских Кёйстут воевода.*

В подлиннике же Будрыс не говорит о какой-то докатившейся до его хутора «вести», которая ему кажется справедливой, а сообщает то, что сказано *ему лично* (видимо, «командованием», как заслуженному воеводе и возможному участнику, а не какому-нибудь отставнику на пенсии):

*Бо мувёно ми в Вильне, же отромбят немьльне
Тши выправы на свята тши строны:
Ольгерд — руске посады, Скиргелл — ляхи-сосяды,
А ксёнз Кёйстут нападне тэўтоны.*

(Ибо сказали мне в Вильне, что протрубят наверняка
Три похода на три стороны света:
Ольгерд на русских, Скиргелл на соседей-поляков,
А князь Кёйстут нападёт на тевтонов).

У Пушкина же в этой строфе — сплошные исторические неточности и отступления от оригинала, который

был очень чётко привязан автором к конкретному периоду и к реально существовавшим в истории персонажам.

Обратите внимание! У Мицкевича в набег на Новгородскую Русь собирается Великий князь *Ольгерд* (по-литовски Альгирдас) Гедиминович, который правил в 1344–1377 гг., а на тевтонов-крестоносцев – его брат и соправитель, князь Жмудский *Кейстут* (Кейстутис, 1297–1382).

У Пушкина же *Ольгерд* и *Кестут* (оба со смещёнными ударениями) меняют свои «сферы влияния», что исторически неверно. Раскрыв, например, школьный учебник русской истории (профессор С. Ф. Платонов, 1916 г.), на с. 101 читаем:

«*Ольгерд*, живя в Вильне, был, так сказать, обращён на восток и действовал против Северо-восточной Руси; *Кейстут*, живя в Трёках, был обращён на запад и действовал против немцев». (Трёками тогда именовали нынешний Тракай: Кейстута называли «Князь Троцкий». От этого городка, возможно, и псевдоним ленинского сподвижника Льва Троцкого.)

Третий поход, на поляков, в подлиннике Мицкевича возглавляет *Скиргелл* (Скиргайла по-литовски) – тоже историческая личность, сын князя Ольгерда. В перевод же Пушкиным введен вместо него почему-то *Паз* (в черновиках было точнее: *Пац*) – такой литовский аристократический род действительно суще-

ствовал, но вышел на историческую сцену тремя столетиями позже Гедимина и его сыновей — только в *XVII* веке!

Паз идёт на поляков, а *Ольгерд* на пруссаков,
А на русских *Кестут* воевода.

Здесь возникает новый вопрос: откуда взялись *пруссáки*? Тем более, что это слово встречается и дальше:

А другой от *пруссаков*, от проклятых *крыжаков*,
Может много достать дорогого...

Сам Мицкевич неприятеля, на которого идёт князь Кейстут (а не Ольгерд, по Пушкину!), чётко называет «по имени» три раза:

1. А ксёнз Кейстут нападне *тэўтоны*
(А князь Кейстут нападёт на *тевтонов*).
2. Нехай тэмпи *Кжыжаки* псубраты
(Пусть он бьёт *крестоносцев*, собачьих братьев).
3. Пэвне з *Немец*, муй сыну, везешь кубэл бурштыну?
(Верно, из *Германии*, сын мой, везёшь сундук янтаря?)

То есть речь здесь идёт о *немцах, тевтонах, крестоносцах*. Пруссаки же вовсе не упоминаются. И это понятно. Если в наше время и, по-видимому, в пушкинские времена, уже можно было как-то отождествить понятия «пруссак» и «немец», то в период, описываемый балладой, — за четыреста лет до Пушкина и за шестьсот лет до нас — это было совершенно немыслимо.

Немцы-тевтоны, «крыжаки» — это пресловутые «псы-рыцари» ордена крестоносцев, основанного в Палестине в 1190 году. Они были злейшими врагами и безжалостными притеснителями как литовцев, поляков и русских, так и пруссаков (пруссов) вплоть до Грюнвальдского сражения 1410 года, когда ордену было нанесено сокрушительное поражение силами всех его врагов.

В авторских примечаниях к стихотворной повести «Гражина» Адам Мицкевич приводит выдержки из старинных прусских хроник, свидетельствующие о звериной жестокости крестоносцев к покорённым ими племенам, и в частности — к пруссам. Так, тевтонский магистр Конрад фон Вэлленрод (ему, кстати, посвящена стихотворная повесть Мицкевича «Конрад Валленрод»), разгневавшись на одного прусского магната, приказал отсечь правую руку всем его крестьянам.

Не удивительно, — пишет А. Мицкевич, — что пруссаки и их побратимы литвины испытывали к немцам

извечную ненависть, которая почти превратилась уже в их врождённую черту характера. В языческие времена, да и после принятия христианства, когда хоронили литвина или пруссака, то, оплакивая его, пели: «Иди, бедняга, в лучший мир, где кровожадные немцы не будут властвовать над тобою, но ты над ними».

Даже немецкий писатель Август фон Коцебу, который не отличался, по словам Мицкевича, приятнью к литвинам и пруссам, в своей «Истории древней Пруссии» (Рига, 1808 г.) приводит такой красноречивый пример:

«...А поскольку немцам редко удавалось овладеть тонкостями чужих языков, то пруссы обычно о каком-либо ограниченном человеке говорили: “Он глуп, как немец”.

Итак, исторические факты, к которым весьма бережно относился Адам Мицкевич, Пушкиным были немилосердно искажены. Но этим не ограничиваются мои читательские претензии к его переводу. На мой взгляд, искажены ещё, по крайней мере, два образа: самого старого Будрыса и — польской красавицы.

Прочтём ещё несколько строф из Мицкевича.

Высьте кжепцы и здрови, едьте слўжить крайови,
Нех литэвске провадзон вас боги!
Тэго року не ядэ, леч ядонцым дам радэ:
Тшэй естэсьте и мате тши дроги.

Едэн з ваших бец муси за Ольгердэм ку Руси,
Понад Ильмень, под мур Новогроду;
Там соболье огоны и срэбжыстэ заслоны,
И у кўпцув там деньги, як лёду.

Нех затягнется другий в ксёнза Кейстута цуги,
Нехай тэмпи Кжыжаки псубраты;
Там бурштынув як пяску, сукна цўднэго бляску
И каплянське в брыльянтах орнаты.

За Скиргеллэм нех тшэтий поза Немэн пшелети,
Нэндзнэ знайде там спшэнты домовэ,
Але за то выбьеже добрэ шабле, пуклеже
И мне стамтонд пшивезе сыновэ.

Не стану приводить подстрочник – здесь А. С. Пушкин передал содержание вполне удовлетворительно. И всё же... польский Будрыс мне нравится больше русского! «*Niech litewskie prowadzą was bogi!* – Пусть *ведут* вас литовские боги!» – Переводится так легко, точно, в том же ритме! Зачем же А. С. Пушкин вместо «*ведут*» написал «*хранят*», заменил вдохновение и отвагу отцовской заботой и осторожностью?

Как будто хотел ещё немножко снизить романтический образ Будрыса-отца! И тут же, после отцовского напутствия – ещё одно красноречивое четверостишие про старого Будрыса:

Сыновья с ним *простились* и в дорогу пустились.
Ждёт, пождёт их старик домовитый.
Дни за днями проводит, ни один не приходит.
Будрыс думал: *уж, видно, убиты!*

Прямо пасторальная идиллия. А какие прекрасные, чеканные, энергичные строки были в этом месте у Мицкевича:

Таку давши пшестрогу, благосла́вил на дрогу;
Они вседли, бронь взенли, побегли.
Иде осень и зима, сынув ни ма и ни ма,
Будрыс мыслял, же в бою полегли.

(Дав такой наказ, он благословил их в дорогу;
Они сели, взяли оружие, поскакали.
Идёт осень и зима, сыновей нет и нет,
Будрыс думал, что пали в бою.)

Текст скупой, суровый, мужественный, несентиментальный – как сам старый Будрыс, который здесь – главное действующее лицо: не *дети* с ним простились и покинули его, а *он их* благословил и отправил в бой... В одном только месте своей «пшестроги» старый рубака позволяет себе лирическое отступление – когда вспоминает польских красавиц и одну из них – давно умершую любимую жену:

Бо над вшистких зем бранки мильше ляшки-коханки,
Весолютке як млодэ котэчки,
Лице бельше од млека, з чарной рысой повека,
Очи блыщонся як две гвядэчки.

(Ибо милее пленниц из всех земель —

польки-возлюбленные:

Весёленькие, как молодые котята,
Лицо белее молока, с чёрными ресницами веки,
Глаза блестят, как две звёздочки...)

А что сделал из этого Александр Сергеич?

Нет на свете *царицы* краше польской *девицы*.
Весела, что котёнок у *печки*,
И как *роза румяна*, а *бела*, что *сметана*;
Очи *светятся*, будто две *свечки*!

Вместо пленницы-наложницы возникла некая «царица-девица»; вместо польской красавицы (белая кожа, чёрные брови и ресницы, а то и глаза) появилась типично русская «девица-краса, кровь с молоком, величава, будто пава»!

И глаза её не *блестят* живо, как *звёздочки* — романтично, и таинственно, и трогательно, — а *светятся*, будто гробовые *свечки* или красные глаза вампиров в американских фильмах ужасов...

Я вовсе не утверждаю, что русский тип красоты хуже польского, Боже упаси! Но красота сама по себе вряд ли волнует этого старого сурового воина. Мицкевичский Будрыс не произносит даже этого слова – *красивая (ладна, пенкна, слична, пшыстойна...)*, он употребляет слово из другого ряда: *мила, дрога, люба, кохана...* Для него «*мильше* всех пленниц польки-любовницы», а для пушкинского: «*краше* всех цариц польские девицы». Нет, вряд ли настоящий Будрыс стал бы так патетически и в то же время легкомысленно разливаться ради юной пленницы! Она и мила, и трогательна, но он глубоко прячет свою сентиментальность и знает цену словам.

У Пушкина же Будрыс выглядит как ничем не примечательный литовский кулак. *Домовитый* скопидом. Сребролюбив. (Будет *всем по награде... Может много достать дорогого... Чем тебя наделили? что там? Ге! Не рубли ли?*). Довольно легкомыслен (*ждёт-пождёт, дни за днями проводит... уж, видно, убиты* – ладно, что поделаешь!). По-стариковски суетлив. (Старый Будрыс *хлопочет* и спросить уж не хочет...) А невестку он желает получить «*мне на дом*» (как в наше время из бюро бытового обслуживания): может, он непрочь бы с нею и сам позабавиться?...

Сыновья его неизвестно почему (слово «тэнгие», то есть «тугие, могучие», Пушкин выбросил!) названы *молодцами*; он сам к ним *пришёл толковать* (наверно, смо-

трет на них с почтением), но при этом называет их «*дети*», как маленьких: возможно, несмотря на заискивание перед ними, хочет всё же выдержать свою роль отца семейства? Но «Дети» к нему, по-видимому, довольно снисходительны (*с ним простились* и в дорогу пустились)...

Таким образом, баллада «*Будрыс и его сыновья*» была в числе лучших, на мой вкус, произведений любимого мною А. С. Пушкина лишь до тех пор, пока я не прочитал балладу Адама Мицкевича «*Трое Будрысов*». И всё же это — не разочарование, а лишь очередная ступень познания — привилегия, которую даёт владение иностранным языком. Так советский человек, повидав Рим, Париж и Вену, легко расстается с убеждением, что Ленинград — красивейший город мира.

Исторические неточности, конечно, досадны, но что касается искажённых, на мой взгляд, образов старого Будрыса и слегка обрусевшей польской красавицы — думаю, что в *вольном* переводе Пушкин имел полное право на самовыражение. В конце концов, о вкусах не спорят. Если мне, скажем, нравится мрачный и мужественный, похожий на викинга Будрыс Мицкевича, то Александру Сергеевичу, возможно, *мильше* русский домовитый хуторской мужик (тем более, что баллада переведена уже после усмирения «*волнений Литвы*», столь гневно осуждённых государственным патриотом Пушкиным).

Впрочем, не в национальности дело: и среди самих русских одни больше любят старого князя Болконского, а другие — старого графа Ростова.

Короче говоря, для себя, взамен пушкинского вольного перевода, в июне 1987 года я сделал новый, так сказать, «невольный» перевод, более близкий к подлиннику, который и предлагаю читателям *на с. 43 этой книжки*.

Любопытна реакция бывшей советской публики на этот перевод; вернее, даже не на перевод (всё-таки в нём есть неоспоримые достоинства), а на сам *факт* «спора» с Пушкиным (хотя в общем-то его перевод — *вольный*, совсем другой жанр)! Реакция эта — не просто ярость «национал-патриотов», оскорблённых наглостью какого-то *левина* — досталось бы и «какому-то *иванову*», — а вот не может вынести советский (или русский?) человек нормального человеческого отношения к Ленину, Сталину, Пушкину, Маяковскому, Иисусу Христу... Не может он жить без культа личности! Даже такой корифей теории литературного перевода, как профессор Ефим Григорьевич Эткинд, хваливший другие мои работы, писал мне по этому поводу в 1987 году: *«Соревноваться с Пушкиным грех. Как бы он ни был неправ, он всё равно — прав»*.

Но почему же? Я очень люблю Пушкина, величайшего из русских поэтов своего времени, но ведь он и «живее всех живых» — со всеми присущими живому

человеку грехами и слабостями. В том числе и с неаккуратными строчками вроде:

«У ней ключи взять от сеней»

или, к примеру:

«Себя в коня преобразив»

или хотя бы даже:

«Чем тебя наделили? что там? Ге! Не рубли ли?»

НОВЕЛЛА 9 ПОЭТИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ

Со времён Николая Первого, а в последние десятилетия особенно, русская национал-патриотическая пресса охотно перепечатывает или цитирует стихотворение А. С. Пушкина «Клеветникам России». Написано оно в связи с реакцией мировой общественности на кровавое подавление царизмом польского восстания 1830—1831 годов и адресовано в первую очередь французским парламентариям Могену и Лафайету, а также ряду публицистов, выступавших за международные санкции против России.

Напомню вам его горделивый текст:

КЛЕВЕТНИКАМ РОССИИ

О чём шумите вы, народные витии?
Зачем анафемой грозите вы России?
Что возмутило вас? Волнения Литвы?
Оставьте: это спор славян между собою,
Домашний старый спор, уж взвешенный судьбою,
Вопрос, которого не разрешите вы.

Уже давно между собою
Враждуют эти племена;
Не раз клонилась под грозою
То их, то наша сторона.

Кто устоит в неравном споре:
Кичливый лях, иль верный росс?
Славянские ль ручьи сольются в русском море?
Оно ль иссякнет? вот вопрос.

Оставьте нас: вы не читали
Сии кровавые скрижали;
Вам непонятна, вам чужда
Сия семейная вражда;

Для вас безмолвны Кремль и Прага;
Бессмысленно прельщает вас
Борьбы отчаянной отвага —
И ненавидите вы нас...

За что ж? ответствуйте: за то ли,
Что на развалинах пылающей Москвы
Мы не признали наглой воли
Того, под кем дрожали вы?
За то ль, что в бездну повалили
Мы тяготеющий над царствами кумир
И нашей кровью искупили
Европы вольность, честь и мир?..

Вы грозны на словах — попробуйте на деле!
Иль старый богатырь, покойный на постеле,

Не в силах завинтить свой измаильский штык?
Иль русского царя уже бессильно слово?
Иль нам с Европой спорить ново?
Иль русский от побед отвык?
Иль мало нас? или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
От потрясённого Кремля
До стен недвижимого Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля?..
Так высылайте ж к нам, витии,
Своих озлобленных сынов:
Есть место им в полях России,
Среди нечуждых им гробов.

Когда войска усмирителя Польши генерал-фельд-маршала И. Ф. Паскевича 26 августа 1831 года (в годовщину Бородинского сражения 1812 года) захватили предместье Варшавы – Прагу, Пушкин посвятил этому событию восторженные ура-патриотические стихи «Бородинская годовщина». Вместе с «Клеветниками» и столь же верноподданническими стихами Жуковского они были поднесены императору. По-видимому, Государь высоко оценил патриотические чувства своего титулярного советника Александра Пушкина, которого всего лишь лет шесть назад подозревал в дружбе с бунтовщиками-де-

кабристами. Впрочем, в какую именно сумму император оценил эти чувства, видно из следующего документа:

Г.-а. Бенкендорф объявил мне Высочайшее повеление о назначении из государств. казначейства жалованья тит. сов. Пушкину. По мнению г.-а. Бенкендорфа, в жалование Пушкину можно было бы положить 5000 руб. в год.

Я осмеливаюсь испрашивать по сему Высочайшего повеления Вашего Императорского Величества.

(Всеподданнейший рапорт гр. НЕССЕЛЬРОДЕ от 4 июля 1832 г.)

НА ПОДЛИННОМ НАПИСАНО:

Высочайше повелено требовать из гос.казначейства с 14 ноября 1831 года по 5.000 руб. в год на известное Его Императорскому Величеству употребление, по третям года, и выдавать сии деньги тит. сов. Пушкину.

Гастфрейнд. Документы. 30

Итак, император через шефа жандармов и укротителя декабристов генерал-аншефа Бенкендорфа повелел установить поэту жалование! Приведенный фрагмент из рапорта графа Нессельроде Николаю Первому вместе с резолюцией царской канцелярии взят из книги В. Вересаева «ПУШКИН В ЖИЗНИ, систематический свод подлинных свидетельств современников с

иллюстрациями на отдельных листах» (издание 6-е, М., 1936).

Однако в том же сборнике есть свидетельства, что не все друзья и современники поэта столь же благосклонно оценили его выступление. Вот некоторые их высказывания:

Из письма Н. А. Мельгунова С. П. Шевыреву от 21 декабря 1831 г.:

(По поводу стихов Пушкина на взятие Варшавы). Мне досадно, что ты хвалишь Пушкина за последние его вирши. Он мне так огадился как человек, что я потерял к нему уважение даже как к поэту... Теперешний Пушкин есть человек, остановившийся на половине своего поприща, и который, вместо того, чтобы прямо смотреть в глаза Аполлону, оглядывается по сторонам и ищет других божеств для принесения им в жертву своего дара. Упал, упал Пушкин, и, признаюсь, мне весьма жаль этого.

О честолюбие и златолюбие!

(А. И. Кирпичников. Очерки по истории новой рус. литературы, т. 2, 2-е изд., М., 1903, с. 167.)

Из записной книжки князя П. А. Вяземского:

15 сент. 1831 г... В той атмосфере невидимые силы нашептывают мысли, суждения, вдохновения, чувства. Будь у нас гласность печати, никогда Жуковский не подумал бы, Пушкин не осмелился бы воспеть победу Паскевича.

Во-первых, потому что этот род восторгов — анахронизм... Во-вторых, потому что курам насмех быть вне себя от изумления, видя, что льву удалось, наконец, наложить лапу на мышь.

22 сент. Пушкин в стихах своих Клеветникам России кажет им шиш из кармана. Он знает, что они не прочтут стихов его, следовательно, и отвечать не будут на вопросы, на которые отвечать было бы очень легко, даже самому Пушкину. За что возрождающейся Европе любить нас?.. Мне также уже надоели эти географические фанфаронады наши «От Перми до Тавриды» и проч. Что же тут хорошего, чему радоваться и чем хвастаться, что у нас от мысли до мысли пять тысяч вёрст... «Вы грозны на словах, попробуйте на деле»... Неужели Пушкин не убедился, что нам с Европою воевать была бы смерть? Зачем же говорить нелепости и ещё против совести и более всего без пользы?

(Полное собр. соч., т. IX, с. 158.)

Из письма А. И. Тургенева Н. И. Тургеневу:

Вяземский очень гонял Пушкина в Москве за Польшу... Пушкин — варвар в отношении к Польше. Как поэт, думая, что без патриотизма, как он понимает, нельзя быть поэтом, и для поэзии не хочет выходить из своего варварства. Стихи его Клеветникам России доказывают, как он сей вопрос понимает. Я только в одном Вяземском заметил справедливый взгляд и на эту поэзию, и на весь этот

нравственно-политический мир (или безнравственно). Слышал споры их, но сам молчал, ибо Пушкин начал обвинять Вяземского, оправдывая себя; а я страдал за обоих, ибо люблю обоих.

(Журнал Мин. Нар. Просвещ., март 1913, с. 18.)

В 1832 году, то есть уже после декабристов и после Польского восстания, Мицкевич включил в III часть своей знаменитой драматической поэмы «Дзяды» несколько стихотворений, посвящённых России: «Петербург», «Памятник Петру Великому», «Дорога в Россию», и др. Они собраны в единое лирическое отступление («DZIADÓW części III ustęp»).

Отдельное стихотворение поэт посвятил своим русским друзьям, среди которых в прошлом прожил более четырёх лет — «Do przyjaciół moskali».

Я купил пятитомник Адама Мицкевича в Варшаве ещё в 1966 году, но в последующее бурное время мне стало не до стихов... К великому сожалению и стыду, я впервые прочёл это стихотворение через... 23 года! Оно было для меня откровением и потрясением (см. с. 54)!

Мне не удалось найти в советских изданиях ни одного русского перевода этих стихов, а в досоветских и зарубежных — всего два, откровенно слабых. При этом я слышал от литературоведов, что переводы «Do przyjaciół moskali» не раз печатались в России и в советской, и в досоветской, но и те, и другие были неточными и не-

объективными: они намеренно смягчались и затушёвывались — как «открыто антироссийские», так и «скрыто антипушкинские» выпады польского поэта. Поэтому в августе 1989 года (по совпадению — в годовщину разгрома Польского восстания), я сделал новый перевод. Перечитайте его ещё раз *на с. 55!*

В то время я работал на радио «Свобода» в Мюнхене, а в СССР шла «перестройка» и движение за независимость национальных республик. Надеюсь послужить этой благородной цели, я переслал свой перевод по неофициальным каналам в Прибалтику, в «Саудис», думал обрадовать потомков повстанцев, но... литовцы не решились его опубликовать, испугались гнева русских патриотов!

Автор «Клеветников», государственный патриот Пушкин 145 лет назад тоже прогневался на бывшего друга-поэта.

Заметьте, что Адам Мицкевич в своём стихотворении не обращался к Александру Пушкину и не упоминал его имени. Тем не менее, великий русский поэт чувствовал, что именно ему адресована эта горькая «скорбная песня». В 1834 году он отозвался на неё небольшим стихотворением, о котором в редакционных примечаниях к Полному Собранию его сочинений в шести томах (ГИХЛ, М., 1949) говорилось: «Стихотворение является ответом на стихотворение Адама Мицкевича «Do przyjacieli moskali» (Sic! — Э. Л.).

Ответ этот, в котором хорошо воспитанный лицеист также не упоминает имени адресата, звучал так:

Он между нами жил
Средь племени ему чужого, злобы
В душе своей к нам не питал, и мы
Его любили. Мирный, благосклонный,
Он посещал беседы наши. С ним
Делились мы и чистыми мечтами,
И песнями (он вдохновен был свыше
И *свысока взирал** на жизнь). Нередко
Он говорил о временах грядущих,
Когда народы, распри позабыв,
В великую семью соединятся.
Мы жадно слушали поэта. Он
Ушёл на запад – и благословеньем
Его мы проводили. – Но теперь
Наш мирный гость *нам стал врагом* – и ядом
Стихи свои, *в угоду черни буйной*,
Он напояет. Издали до нас
Доходит голос *злобного* поэта,
Знакомый голос!.. Боже, освяти
В нём сердце правдою твоей и миром
И возврати ему..

Изложено искусно, с пушкинским мастерством.
Но... как-то по-детски обиженно. Ах, как обиделось на

правду Солнце русской поэзии! До того обиделось, что уже стал бывший друг и *злым, и взирающим свысока, и нам врагом* (кому же «нам»: Рылееву? Бестужеву? или всё-таки кровавым палачам-поработителям и их подпевалам?) И кто же эта *буйная чернь*? Князь Вяземский и братья Тургеневы?!

В общем, стихотворение это — вполне в духе нынешних «защитников» Пушкина от «руссофоба» Терца-Синявского. Оно столь же поэтически и нравственно беспомощно и явно не принадлежит к числу лучших творений великого русского поэта.

Таким образом, попытка «ответить» трагическим, гражданственным, гуманистическим, благородным стихам Адама Мицкевича — стихам, эпиграфом к которым просится чешский призыв «За вашу и нашу свободу!» — эта попытка не убедительна. В начатом «*Клеветниками России*» политическом споре двух народных поэтов, на мой взгляд, последнее слово осталось всё-таки за автором «*Do przyjaciół moskali*».

P. S. Впрочем, можно считать, что и *первое* слово в этом поэтическом диалоге сказал Адам Мицкевич. Ещё до вспышки восстания, в июле 1830 года (по дороге в Геную) он написал стихотворение «*Do Matki Polki*», («К матери-польке»), в котором предсказал трагическую судьбу польских повстанцев. Подлинник А. Мицкевича *см. с. 48*, мой перевод *с. 49*.

Я перевёл это стихотворение в 1988 году — на год раньше, чем «*Do przyjaciół moskali*», и, хотя оно в комментариях не нуждается, но выразительно дополняет образ автора как поэта-патриота и противника имперского гнёта царизма.

Эти стихи тоже, по-видимому, в СССР замалчивались довольно старательно, и Адам Мицкевич выглядел «чисто лирическим» поэтом, верным и искренним другом России.

Мне удалось разыскать лишь один досоветский перевод (М. Михайлова) — очень старый и очень плохой.

НОВЕЛЛА 10 ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Чувствую, что пора мне с моим хобби кончать: не стариковское это дело. Насчёт рифмованных шуток, эпиграмм, пародий и разных каламбуров зарекаться не буду. Писал их всю жизнь, начиная с младших классов, и, даст Бог, на смертном одре ещё успею сочинить себе эпитафию.

Переводы другое дело, это работа серьёзная, трудная и неблагодарная – всё равно ведь ты не автор!

Так что переводить я стал поздно, уже инженером. Многое утеряно, многое не включено в эту книжку, но закончить её я хочу своим *первым опытом стихотворного перевода*, о котором, казалось, прочно забыл. А вспомнил, благодаря приятелю. Как-то он рассказывал о восхитительной советской рекламе довольно паршивой «рыбы серебристый хек», которую видел в Москве много лет назад. Оказалось, что и мы с женой тоже примерно в 1970 году, в Минске, в магазине «Рыба» видели ту же рекламу и даже пытались эту рыбу купить, предлагая кассирше 3 или 5 рублей! А я-то думал, что это уникальное местное творчество!.. На роскошном синем глянце-вом плакате Нептун со своими вилами и стихи:

*Стать здоровым, бодрым, сильным
Хочет каждый человек,*

*И ему поможет в этом
Рыба серебристый хек.*

Текст этот, конечно, «выдающий», но никакого отношения к «блокноту переводчика» не имеющий. Правда, он вдохновил меня тогда на сюрреалистическую шутку:

*Рыбаки ловили хека,
А поймали человека,
Потому что человек
Был похож на рыбу-хек:
Круглоглазый и костистый,
Весь немного серебристый,
Жабры, хвост и чешуя,
И в кармане — ни фуя...*

Но главное: по ассоциации мне припомнился другой эпизод — 1958 года, — как раз и нужный мне для «эпилога»!

Закончив годом раньше Белорусский политехнический, я работал инженером-электриком в минском проектно-институте «Белгипроторф» (и, разумеется, украшал тамошнюю стенгазету бойкими поэмами в честь Нового года и 8 марта). Одной из моих коллег по проектированию высоковольтных линий и подстанций на торфопредприятиях беларуских болот была Ванда Лысаковская изрядно засидевшаяся в девицах, высокая, с волейбольными плечами, с «твёрдыми, как кегли, ногами» (Ильф

и Петров) и большим горбатым польским носом. Её тётя в АН БССР редактировала букварь для белорусских школ.

И вот однажды Ванда приносит мне стихотворение с тётинной просьбой перевести его на беларускую мову:

*Нужно рано подниматься,
Нужно чисто умываться.
Если будешь ты здоровым,
Бодрым, чистым и весёлым,
Для страны любимой скоро
Станешь крепкою опорой.*

Именно этот текст мне и напомнила реклама в рыбном магазине: ну, будто бы одна и та же тётя их писала!

Что было делать? Писать по-белорусски свой текст мне не хватало серьёзности. Я решил отшутиться и назавтра предложил Ванде следующий «национальный орнамент»:

*Каля млына ¹, каля рэчкі,
Дзе Язэп ² ганяў авечкі,
Сярод ёлак і асін,
Жыў здзічэлы ³ сукін сын.*

¹ У мельницы;

² западнобелорусское имя (по-польски Юзеф, по-русски Осип);

³ одичалый (а также сдуревший, чокнутый);

*Раніцой ⁴ не ленаваўся
На гімнастыку падаўся,
Доўга бегаў цераз мост,
На сьпіну паклаўшы хвост,
Потым, сеўшы каля дуба,
Ён старанна чысьціў зубы,
Морду скроб, аблізваў нос,
Потым блох з сябе абтрос,
З поўсьці⁵ выцягнуў калючкі
І пабег да мамкі-сучкі.
І пайшлі яны гуляць
Разам каля млына.
Трэба, дзеткі, прыклад браць⁶
З сукінага сына!*

Ванда обиделась и несколько дней не разговаривала.

⁴ поутру.

⁵ Из шерсти;

⁶ брать пример.

ПО КАПРИЗУ ЛЮБВИ

Вадим Перельмутер

Что очень хорошо на языке французском,
То может в точности быть скаредно на русском...
Сумароков

Слово найдено мастерски, в десятку: *скаредно*. И двустишием со вспышкой этого слова исчерпывающе, на мой взгляд, обозначена проблема стихотворного перевода, вот уже третий век занимающая тех, кто берется перелagать на язык родных осин сочинения разнообразных *иноязычных* авторов. Будь то древнегреческий слепец или китайский мудрец, плененный созерцанием лунного диска на озерной глади да и потонувший в нем; демонический англичанин, хромым метеором пронесшийся, сгорая, от Альбиона до Эллады, или немецкий вельможа-министр, поверивший гармонии стиха алгеброй естествоиспытателя; изысканно-ироничный польский еврей или нервически юный француз, в двадцать лет — без объяснений — бросивший влюбленную в него поэзию, чтобы тридцатисеми-

летним, умирая от костной саркомы, так и не узнать, что давно слывет классиком...

Как, на внешний взгляд, ни парадоксально, но *скардность* в переводе стихов нередко происходит как раз из стремления к *точности*. Ибо точность — множественна: психологическая/эмоциональная, художественная/образная, смысловая/словарная, можно и продлить ряд. У поэта они сведены воедино органическим, почти бессознательным внутренним усилием — иначе стихов попросту нет. При переводе задачу приходится решать — в значительной мере — извне: через *понимание* того, что хотел сказать поэт, того, как он сделал бы это, если бы писал на «языке перевода», в частности, по-русски.

«Буквализм — это неудавшаяся точность» (*Шервинский*).

Потому для переводящего стихи даже самый академически-тщательно сработанный словарь — одновременно и подспорье в деле, и богатейшая коллекция смысловых иллюзий. Он не передает — и не может передать — ни идущего от каждого слова ассоциативного эха, естественно-внятного тому, кому это слово — *родное*, ни оттенков смысла, вспышек при столкновении-отталкивании слов во фразе. Искусство переводчика в том и заключается, чтобы превратить словарные *иллюзии* в поэтическую реальность.

Лотман говорил, что совсем нетрудно *теоретически* доказать невозможность перевода. Если бы... опыты пе-

ревода не совершались постоянно и не были подчас весьма успешными.

При этом положение переводчика всегда двойственно. С одной стороны — соблазн сделать то, что не удалось другому, пусть даже именитому, а то и вовсе классику. С другой — сознание *неоконченности* любого перевода, твоего — в том числе. Хотя бы потому, что стареет-обновляется язык.

Здесь — ключевое различие поэзии и перевода, делающее их просто-напросто разными искусствами.

Книга переводов Эрнста Левина тем, на мой вкус, особенно хороша, что эту двойственность выявляет, подчеркивает — и ею внутренне движима.

Не всякий, думаю, рискнет настаивать на том, чтобы параллельно с его переводами печатались оригиналы — и любой просвещенный желающий мог обнаружить-осмыслить не только удачу, но и упущения. Откуда — шаг до попытки сделать иначе, по-своему, *точнее*.

И не рискованно ли начинать книгу переводом — да еще и в двух вариантах — самого, пожалуй, знаменитого Шекспировского сонета, который уже перелагали на русский как минимум раз полтора?!

Эрнст Левин рискует увлеченно и, я бы сказал, по убеждению, что только так его «хобби» включается в живую жизнь русского стиха. По любви.

Эта книга возникла по капризу любви, который Волошин считал неременным условием перевода стихов.

Так обусловлены и выбор *оригиналов*, и отношение к ним, и неутомимая готовность снова и снова добиваться *взаимности*, то бишь переживания и впечатления, совпадающих с теми, первоначальными, *иноязычными*, если угодно, *иноментальными*.

Иногда это дается как бы невзначай, само собой, «так сказалося» — и потому дорогого стоит. Такова, например, легкая рифменная неточность в переводе из Тувима:

Бросить бы все это, бросить бы не глядя,
Поселиться осенью в Кутно иль Серадзе, —

она ведь и в оригинале есть:

Rzuciłbym to wszystko, rzuciłbym od razu,
Osiadłbym jesienią w Kutnie lub Sieradzu, —

и в ней вернее, чем в *словах*, — неназванно, для умеющих читать стихи, проскальзывает тоска и неутолимость порыва...

Полярный случай: несуетно терпеливый поиск одного-единственного слова, которого, вроде бы, и нет, ни один словарь не обнадеживает, но — *должно быть*: без него перевод не состоится.

Chmur schorzałych szare cielska
Nudę sypią na ulicę.

Siwa śmierć obywatelska
Puka w stęchłe okiennice.

По-польски — естественно, обиходно. По-русски — не давалось... сорок лет. И все-таки — нашлось:

Тучи душат, наседая,
Небо скукою сочится.
Смерть *житейская* седая
В окна нищенкой стучится.

Речь — не об *удачах* или, там, *находках* автора, а книга, конечно, *авторская*: «вразумлять» таким образом читателя не вижу надобности. Но — о содержании и содержимом книги. О том, что автор подсказывает, предлагает читать ее — *так*.

Кто может — пусть сделает лучше...

лето 2005, Мюнхен

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ АВТОРА 5

ИЗ ЕВРОПЕЙСКИХ ПОЭТОВ

Вильям Шекспир (1564–1616)

Сонет 66 10/11

Джордж Гордон Байрон (1788–1824)

Стансы 14/15

Иоганн Вольфганг фон Гёте (1749–1832)

Песня Миньоны 16/17

Иоганн Майнгофер (1787–1836)

Ночная песнь лодочника 18/19

Фридрих фон Мальтиц (1795–1870)

Прошлое 20/21

Генрих Гейне (1797–1856)

Лорелея 22/23

На севере кедр одинокий... 26/27

Ты сделала очень гадко,.. 26/27

Голубка и солнышко 28/29

Иоганн Непомук Фогль (1802–1866)

На мосту 30/31

Фёдор Тютчев (1803–1873)

Мы с тобою вдвоём 32/33

Генрих Ноэ (1835–1896)

Сонет 34/35

Пауль Целан (1920–1970)

Фуга смерти 36/37

<i>Адам Мицкевич (1798–1855)</i>	
Трое Будрысов	42/43
К матери-польке	48/49
К русским друзьям	54/55
<i>Юлиан Тувим (1894–1953)</i>	
Бросить бы всё это	58/59
Жидёнок	62/63
Пляшущий Сократ	66/67
Смерть	76/77
Никогда	86/87
Дефиниции	88/89
Польские цветы (отрывок из поэмы)	90/91
На критика	100/101
Эпитафия	100/101
Молчаливая мама	102/103
Поздоровались	102/103
Страничка истории	104/105
Птичьи сплетни	108/109
Песенка покойника	110/111
Семейная ссора	112/113
Про пана Тралялинского	116/117
<i>Константы-Ильдефонс Галчиньски (1905–1953)</i>	
Снова осень	122/123
Письмо узника	124/125
<i>Неизвестный польский диссидент 80-х годов</i>	
Урок географии	126/127

ИЗ ИЦИКА МАНГЕРА	131
Как это было	134
Об Ицике Мангере	138
<i>Ицик Мангер (1901–1969)</i>	
Пророк	140/141
Песенка про золотого павлина	144/145
У дороги дерево	148/149
Нищие	154/155
Баллада о старом священнике, больной Мари и чёрном псалтыре	156/157
Одинокий	162/163
Я — собака на цепи	166/167
Баллада про дровосека	170/171
Агасфер	174/175
Грустная песенка	178/179
Каин и Авель	182/183
РУФЬ (стихотворный цикл)	
Вступление	186/187
Ноэми читает «Бог Авраама»	188/189
Ноэми говорит с невестками	194/195
Ноэми не спится	198/199
И Орфе не спится	204/205
И Руфь никак не заснёт	208/209
Ноэми покидает деревню	212/213
На распутье	216/217
Орфа прощается	220/221
Саул и Давид	224/225
Письмо к Малкелэ	230/231

БИБЛЕЙСКАЯ КНИГА «ЭККЛЕЗИАСТА»	235
Стихотворный перевод с иврита и арамейского	
Глава 1	250
Глава 2	252
Глава 3	256
Глава 4	258
Глава 5	260
Глава 6	263
Глава 7	265
Глава 8	269
Глава 9	271
Глава 10	274
Глава 11	277
Глава 12	278
«ДЕКАМЕРОН ПЕРЕВОДЧИКА»	281
<i>Новелла 1. Обидели Тувима</i>	283
<i>Новелла 2. Рейнская дева</i>	289
<i>Новелла 3. Ты знаешь ли край?</i>	295
<i>Новелла 4. «Вероломство»</i>	299
<i>Новелла 5. Сосна и пальма</i>	304
<i>Новелла 6. Умереть за древних греков</i>	309
<i>Новелла 7. Сонет Шекспира</i>	313
<i>Новелла 8. Трое Будрысов</i>	324
<i>Новелла 9. Поэтический диалог</i>	342
<i>Новелла 10. Вместо эпилога</i>	353
ПО КАПРИЗУ ЛЮБВИ. В. Перельмутер	357

Эрнст Левин

Л36 Декамерон переводчика. — М.: Время, 2008. — 368 с.

ISBN 978-5-9691-0268-2

«Декамерон переводчика» Эрнста Левина можно назвать книгой открытий. Многие годы он складывал свои переводы в стол — живя и в СССР, и в Израиле, и в Германии. И вот дебют (хотя автору уже за семьдесят), дерзкое покушение на самые признанные вершины переводческого ремесла — чего стоит новый перевод 66-го сонета Шекспира! А ведь есть еще в книге «новые» Гейне и Целлан, Тувим и Мицкевич... И немало сопровождающих новые переводы увесистых камешков в огороды коллег по переводческому цеху...

Одно из самых долгожданных открытий — явление на русском языке великого еврейского поэта Ицика Мангера, писавшего на идиш.

ББК 84Р-3

НВ.
Эту сопливую аннотацию
писал, разумеется, не я, а Питеркак
или кто-то из его работничков.
А дурак Абдуллаев понял, что
это я «нахваляю собственные
переводы, срываюсь в аннотации в
совершенное фортиссимо.
Дурак ок, прости Господи!
А её и в глаза не видел.
Эп

Литературно-художественное издание

Эрнст Левин
Декамерон
переводчика

Редактор
Татьяна Тимакова
Художественный редактор
Валерий Калныньш
Верстка
Оксана Куракина

Подписано в печать 06.02.2008. Формат 70×90¹/₃₂.
Бумага писчая. Гарнитура Newton.
Усл. печ. л. 13,5.
Тираж 1000 экз. Заказ № 91.

Издательство «Время»
115326, Москва, ул. Пятницкая, 25.
Телефон (495) 951-55-68.

Отпечатано в ОАО «ИПП «Уральский рабочий»
620041, ГСП-148, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.
<http://www.uralprint.ru>
e-mail: book@uralprint.ru

ISBN 978-5-9691-0268-2



9 785969 102682



ПОТЕРЯННАЯ НОВЕЛЛА

По техническому недоразумению в сборник переводов «Декамерон переводчика» (изд-во Время, М-ва, 2008) не вошла последняя, Десятая новелла, на которую ссылается в своём послесловии В. Г. Перельмутер, а под №10 помещено авторское заключение («Вместо эпилога»). Таким образом, «декамерон» превратился в «нонамерон». Восстанавливая статус кво, привожу утраченную новеллу отдельно.

Эрнст Левин

НОВЕЛЛА 10. КОРОТКО О ДОЛГОМ.

Эта последняя новелла моего "Декамерона" – действительно самая короткая из всех, но она охватывает период длиной более сорока лет.

В начале 60-х годов мне очень понравилось стихотворение Юлиана Тувима "Смерть", и я уселся было его переводить. Стихотворение длинное, полностью я привожу его вместе с другими произведениями Тувима в первой части этой книги, но содержание вкратце придётся изложить.

Провинциальный польский городок. Косые заборы, мутные окна в домишках; душно перед грозой... Скука, тоска, смутные страхи... Где-то плачут, у кого-то горе... Молодайка ждёт письмицка... Пан аптекарь зелья варит, пан цырюльник точит бритвы... Доктор с ксёндзом играют в шахматы... А по улицам ходит бледная седая старуха Смерть и лениво стучится в окна, выбирая очередную жертву... А потом – дождь, гроза! – и Смерть, одолев лень и скуку, врывается в ближайшее окно!

Страшные стихи! И завораживают, и влекут...

Я уселся за перевод, не предвидя трудностей, но первое же четверостишие меня поставило в тупик:

*Хмур-ехожалых шарэ тельска
Нудэ сыпье на улицэ.
Сива смерть обыватэльска
Пука в стэнхлэ оkenницэ.*

Не задумываясь, я записал так:

*Тучи душат, наседая,
Небо скукою сочитя.
Смерть (какая-то) седая
В рамы ветхие стучится...*

Да, но какая "какая-то"? У Тувима – прекрасно, у Тувима идеально: Сива смерть *обыватэльска*! По-польски "обыватэль" – это "гражданин", – юридический термин, как и по-русски; обыватэль Валэнса, гражданин Иванов, ЗОМО – Змоторызованэ Отдялы Милиции Обыватэльскай... То есть. седая *гражданская* смерть – не военная, не геройская, не трагическая, а бытовая, штатская, "своя", обычная, старая как мир (седая!)... Чем же мне заменить это универсальное для поляков слово? "*Мещанская седая*", "*простая рядовая*", "*обычная мирская*", "*невзрачная седая*"?... Позже, в конце 1960-х, мне попался перевод этих стихов (Н. Чуковский, или Д. Самойлова, не помню), где была "*смерть заштатная, седая*" – ещё хуже, чем мои собственные потуги. В конце концов я просто сдался, признав, что эти стихи мне не по силам. Тем более, что эту упрямую строчку Тувим, очевидно, считал ключевой и повторил ещё трижды:

1. Од спекоты сжулкы зельска, цо под плотэм в пяху росној,
Сива **смерть обыватэльска** якость минэ ма жалосној.
(От жары пожухли травы, что растут в песке под тыном,
Сива **смерть обыватэльска** строит жалобную мину)
2. (повторение из первого катрена):
Сива **смерть обыватэльска** пука в стэнхлэ оkenницэ.

3. "А нех пука! Не отвожэ! Пиймы – наша пшыятельска!"
Мокне сива смерть на двожэ, мокне **смерть обыватэльска**.
("Пусть стучится! Не открою! Вышьем! И т.д.)

Кроме того, обнаружилась и вторая, тоже рефренная (два раза повторяется), но уж совсем непокорная строчка:

Така страшна, така бяда...
(такая страшная, такая бледная).

Ну невозможно ведь перевести это на русский язык четырехстопным хореем, грамматика не пропускает! Вот писал бы Тувим в ритме одесской песенки "Купите бублички" – тогда пожалуйста:

*Такая страшная, такая бледная,
Торговка бедная, я здесь стою...*

Но строчка эта не только строптивая: она у Тувима ударная, убойная и самая последняя в это стращеньком стихотворении:

*Drzewa jęczą, drzewa mokną,
Ktoś tam płacze, ktoś tam biada.
I skoczyła śmierć przez okno,
Taka straszna, taka blada...*

(Стонет сад, деревья мокнут,
Где-то плачут, кто-то в горе...
И – ворвалась смерть сквозь стёкла,
Така страшна, така бяда...)

Давид Самойлов перевёл эту строчку:

"Так бледна и так ужасна".

По-моему, бездарно...

А я – целых 40 лет вновь и вновь возвращался к этому стихотворению и только в марте 2005 г. решился испробовать для первого рефрена ещё один вариант: **смерть житейская седая**. Но со вторым рефреном (*така страшна, така бяда*) ничего сделать так и не смог! Оставляю эту работу будущим поколениям. Остальное было просто, я сделал перевод за 2 дня.

Начинается он так:

*Тучи душат, наседая,
Небо скукою сочится.
Смерть житейская седая
В окна нищенкой стучится*

Но и кончается он, увы ... этим же рефреном:

*Дом, деревья – всё промокло.
Где-то плачут, причитая...
И – рванулась в дом сквозь стёкла
Смерть житейская седая!..*

Целиком перевод этот приведен параллельно оригиналу в первой части книги ("Из европейских поэтов", стр.76-85), но... гордиться нечем: оригинал всё равно лучше!

С. Гедройц (Журнал «Звезда» №8, август 2008, Санкт-Петербург)

<http://magazines.russ.ru/zvezda/2008/8/ge17.html>

О книге Эрнста Левина «Декамерон переводчика». — М.: Время, 2008.

Приятно иметь дело с приличным автором. Все по-честному. Вот вам оригинал немецкого, польского, еврейского или древнееврейского стихотворения. Вот, если надо, подстрочник. Вот, для верности, транскрипция. Прикладываем, если имеется в наличии, хрестоматийный перевод — хоть Маршака, хоть Лермонтова, хоть Пушкина самого. Выделяем — видите? — курсивом отсебятину и неловкие обороты. Убедительно? То-то. А теперь посмотрим — нельзя ли перевести точнее и притом не хуже. Как вам такой, к примеру, вариант? Да, самопальный. Без фабричной марки. Изготовленный на личные художественные средства бывшим советским инженером Левиным. Не для славы и не для денег, а исключительно для души. Такое хобби.

Хотелось бы мне знать, как сложилась инженерная его карьера. Не при советской власти — тут все понятно, — а в эмиграции. Почему-то я уверен, что должна была сложиться хорошо. Соображения, которые он высказывает по ходу дела, в виде как бы то автобиографических, то текстологических примечаний, обличают в Эрнсте Левине ум основательный, острый, страстный. В технике, иногда и в некоторых науках, это не считается достаточной причиной, чтобы человека загнобить.

Другое дело — мастера стихотворного перевода. Ну то есть все, кому случалось получать за стихотворные переводы гонорар. Эти пощады не знают. Высота, с которой они глядят на дилетанта, — из провинции! — к тому же самоучку! — не поддается измерению. Никуда не пустят и ничего не напечатают. Ни пяди бумаги не отдадут на печатной полосе. Хотя бы он принес что-нибудь вполне безобидное, какого-нибудь Ицика Мангера, писавшего на никому здесь уже не известном идише и переведенного чуть не на все, кроме русского, европейские языки.

(А впрочем, что я мелю? Ничего себе — безобидный пример. Только ициков мангеров тут не хватало. Должно быть, я имел в виду неконкурентоспособность: уж с идиша-то переводчик ни у кого не стоит на дороге в кассу, не правда ли? Даже наоборот: его прежде других вызовут в спецотдел.)

А уж если дилетант и самоучка — да прямо скажем: вообще инженер, низшее существо, — попробует хотя бы шутки ради слегка обревизовать хрестоматийную классику!

Счастье его, что проживает за границей. В СССР мог бы попасть в дурдом либо даже на общие.

Нисколько не шучу и не преувеличиваю. Вы сейчас же сами удостоверитесь и согласитесь.

Надо полагать, вы помните пушкинский отрывок: «Он между нами жил...» Про одного поэта. Как мы тут в Петербурге тепло его принимали, читали ему свои стихи, сочувственно и жадно внимали его речам

...о временах грядущих,

Когда народы, распри позабыв,

В великую семью соединятся.

Ну вот. А он ушел (благословляемый нами, между прочим) на Запад — и вот теперь стал нам врагом и свои произведения, в угоду черни буйной, напояет ядом.

...Издали до нас

Доходит голос злобного поэта,

Знакомый голос!.. Боже, освяти

В нем сердце правдою твоей и миром

И возврати ему...

Академический комментарий докладывает, что это — ответ Мицкевичу на такое-то его стихотворение, — выписывает польский заголовок и, поперхнувшись, умолкает.

А знаете, на какое? Вот оно — «К русским друзьям»:

Вы меня — не забыли? А я, как случится

Вспомнить тех, кто в могилах, острогах, изгнаньях,

Вспоминаю и вас: иностранные лица

С полным правом гражданства в моих поминаньях.

Где вы нынче? Рылеев, с которым, как братья,

Обнимались мы, — волей державного рока

Умер в царском объятьи — в удавке! — проклятье

Племенам, что своих убивают пророков!

Жал мне руку Бестужев, поэт и рубака;

Прикоснется ль рука эта к шпаге и лире? —

В кандалах она — рядом с рукою поляка —

К рудной тачке прикована в снежной Сибири.

Может, с кем и похуже беда приключилась:

Может, он опозорен наградою, чином,

Душу вольную продал за царскую милость,

Бьет поклоны, лобзает сапог господина,

Славит царский триумф вдохновением платным... И т. д.

Эрнст Левин перевел этот текст, проживая уже за границей. А здесь — как вы считаете, поздоровилось бы ему? Особенно если бы он — как и сделано в этой книжке, — усугубил смысл стихов историческими фактами. Про польское восстание, про «Клеветников России», про назначенный с осени 1831 года титулярному советнику Пушкину персональный пятитысячный оклад. Все это, положим, правда, — но непочтительная; непростительная.

Много в этой книжке озорства. Как будто сам черт Эрнсту Левину не брат.

«Наверно, подумал я, схалтурил Блок — некогда ему было, что ли?..

Но больше я удивлялся по другому поводу: ну не мог ведь Блок так плохо знать немецкий язык!.. <...> Наконец, зачем он назвал свой перевод «Лорелей», если по-немецки было «Лорелей» (нормальное окончание женского рода!), а «Лорелей» по-русски звучит похоже на «Пантелей» или «Тимофей»? Когда же по ходу чтения выяснится, что речь идет о девушке и она автоматически переосмыслится в «Лорелею», вдруг натыкаешься в конце на «*песни Лорелей*», и чудится, будто этих «лорелей» много, и поют они хором...»

Ишь каков. Александра Блока — в халтурщики. И Лермонтову не упустит с насмешкой красным карандашом подчеркнуть:

— Написано красиво, хотя если бы она *качалась*, а снег был *сыпучим*, то вся *риза* давно бы исчезла.

Такая забавная работа над ошибками. Чужими. Но что характерно: не особенно-то возразишь. Нечем, в общем-то, крыть. Кроме джокера: некрасивого аргумента, так называемого по-латыни *ad hominem*, в переводе Шуры Балаганова: *а ты кто такой?*

Или так: а не угодно ли вам, г-н насмешник, оборотиться на себя? Благо ваша книжка так удобно устроена — слева оригинал, справа копия, — что даже и полный, вроде меня, невежда найдет повод убедиться: сходства идеального не бывает. Ну да, ваши копии как будто точнее — если посмотреть в таком-то ракурсе. Но все равно оригинал пребывает в пространстве, предположим, *n* измерений, а копия, как правило (из которого исключением бывает лишь чудо), — принадлежит пространству, предположим, *n - 1*. Или — страшно редко — наоборот.

Блок, вы правы, «Лорелею» передал вяло, финал — просто никакой. Но и ваше будущее время вместо прошедшего:

И пение Лорелеи

Будет тому виной —

тоже, знаете ли, приблизительно во всех смыслах.¹

И «Экклезиаст» в вашем подстрочнике сильнее, чем в ваших стихах. Правда, это попрек нечестный, поскольку данная задача, очевидно, не имеет решения.

А есть в этой книжке и волнующие переводы: из Целана, из Галчиньского, из Тувима. Из того же Ицика Мангера.

Коллекция ценная. И очень симпатичен ее составитель: каким-то образом, не прилагая умышленных усилий, он в книжке постоянно присутствует. Ведь тут рассказана история его интеллектуальных авантур, его роман с мировой культурой, если разобраться — его судьба.

Бесстрашный. Простодушный. Угадайте, почему книжка так называется. Потому, что так назван ее последний раздел. А ему такое название дано? — «без всяких претензий, единственно потому, что он случайно содержит ровно десять отдельных новелл».

Ну и назвали бы, допустим, — «Декаэдр». А «Декамерон» при чем? Без претензий, видите ли.²

Примечания Э. Левина:

¹ Именно в будущем времени и нужно, так как предыдущая фраза и у меня (Я знаю, он с лодкой свою погибнет, проглочен волной), и у Гейне (Ich glaube, die Wellen verschlingen am Ende noch Schiffer und Kahn) говорят о том, что будет дальше; а пока что лодочник зачарованно глядит вверх и прёт на скалы. И странно выглядит, например, перевод Вильгельма Левика:

Я знаю, река, свирепея,

Навеки сомкнётся над ним, —

И это всё Лорелея

Сделаю пенем своим. А у Блока и у Тютчева будущее время.

² Последняя ехидная строчка — не по адресу. Я назвал весь сборник даже слишком скромно: «С миру по нитке». А издательство Время решило не спросясь переименовать его более пиарно и интригующе для покупателя — по последнему разделу книги.